

**ВИКТОР
МЕРКУШЕВ**



**ТЁМНАЯ
МАТЕРИЯ**

Виктор Меркушев

Тёмная материя

«Знак»

2026

ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4

Меркушев В. В.

Тёмная материя / В. В. Меркушев — «Знакъ», 2026

ISBN 978-5-91638-248-8

В книгу вошли новые рассказы, эссе и прозаические миниатюры, написанные за 2024 и 2025 годы. Тематика их различна, но в каждом повествовании просматривается граница между случившимся и несбывшимся, проложить которую способен только сам человек – своей находчивостью и силой воли.

ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4

ISBN 978-5-91638-248-8

© Меркушев В. В., 2026

© Знакъ, 2026

Содержание

Иллюзия	6
Весна	11
С мыслями о чём-то большем. На Большой Зеленина	13
Демон Лапласа	19
Эпизод	25
Три сеанса	28
Равнина Жары	34
Сон Тимирязева	36
Пустая квартира	38
Комната	46
Подслушанный разговор	51
Мусор	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Виктор Меркушев

Тёмная материя

© Меркушев В.В., обложка, илл., текст, 2026

© «Знак», 2026

Иллюзия

В заводской клуб был приглашён фокусник. Такое событие можно было бы посчитать заурядным, если бы мероприятия подобного рода происходили здесь регулярно. Но нет. Заполучить кого-нибудь из артистов удавалось нечасто, а если и удавалось, то исключительно за счёт личных связей активистов профкома или заводской администрации. И вот сегодня, наконец, кому-то из них посчастливилось позвать артиста к нам в гости и, понятно, в клубе ожидаемо был аншлаг. Зал, который не в силах комфортно разместить всех собравшихся, теперь стоически позволял людям толкаться в проходах и толпиться прямо у сцены, допуская располагаться даже на краю оркестровой ямы.

Мне повезло. Я сидел в самом центре партера, что было, пожалуй, самым удачным местом, поскольку пришедшие заблаговременно и занявшие первые ряды, испытывали сейчас очевидное неудобство, созерцая спины тех, кто не успел прийти вовремя. Но никто не возмущался. Большинство людей хорошо знали друг друга, а всё недовольство адресовывалось фокуснику, который опаздывал или зачем-то задерживал свой выход к зрителям, ожидающим от него если не чуда, то точно каких-нибудь необычайных штук.

Рядом со мной сидел седовласый мужчина в немодном чёрном плаще, хранивший завидное спокойствие и безучастно наблюдавший за происходящим. Прежде на заводе я его никогда не видел, да и не походил он на заводского. Скорее всего, это был один из тех, кто приехал к нам в клуб вместе с артистом.

Наконец-то фокусник появился. Зал сначала загудел, захлопал, затем движение быстро прекратилось, выкрики смолкли, и разноголосый шум сошёл на нет.

Фокусник, деланно улыбаясь, решил начать с весёлого. «Вы знаете, почему море солёное?» – при этом вопросе губы фокусника потеряли улыбку, и его хитроватое лицо приобрело загадочное выражение.

Наверное, это был его дежурный вопрос, с помощью которого он искал контакта с пришедшими на его представление, однако зачин артиста испортил кто-то из стоящих прямо у сцены. Встрявший в представление шутник громогласно заявил, что всё дело в пересоленной селёдке. По залу тотчас покатился грубоватый смешок. Но артиста это не смутило. Он пропустил мимо ушей хамоватый выкрик и повторил шутку про плавающую селёдку, вызвав в зале повторную волну смеха.

Польщённый благорасположенным настроением зала, артист растянулся в притворной улыбке и, манерно кланяясь, горделиво объявил:

– Хотелось бы начать с чего-нибудь простенького. У почтенной публики не будет возражений?

– Давай, начинай уж! Не томи! Оно можно, токмо чтоб не того, чтоб не оглушило! – посыпались нестройные голоса.

Несмотря на нетерпеливость собравшихся, артист выдержал многозначительную театральную паузу. Наконец, он снял свой цилиндр и основательно его потряхивая и постукивая, дал убедиться любопытствующим, что в его головном уборе ничего нет.

– Пусто! – гулко выкрикнул артист. Тут же на сцене показался ассистент фокусника с табуреткой и отрезом белой блестящей ткани. Принесённый реквизит немедленно пошёл в дело, артист что-то пробормотал над задрапированным цилиндром и резким движением сорвал с него блестящий покров. Из головного убора артиста теперь выглядывали настоящие заячьи уши.

Фокусник торжественно обошёл табуретку, затем ухватился за торчащие уши и с возгласом «але-гоп!» потянул их на себя. Однако оттуда показался не заяц, а метры пушистой ленты

из белоснежного тюля, которую ловко подхватил ассистент и под овацию зала унёс за кулисы вместе с табуреткой и блестящей тканью.

Артист, довольный собой, победно оглядел зал.

– Хотелось бы попросить на сцену кого-нибудь из зрителей, чтоб никому не пришло в голову, что я использую здесь подсадных! – язвительно произнёс артист и захлопал в ладоши. Зал не замедлил поддержать его бурным рукоплесканием.

– Ну, Валя, давай ты! – проявили инициативу литейщики, выталкивая из своих рядов формовщицу с плавильного участка, без бойкого выступления которой не обходилось ни одно заводское собрание. Та, недовольно отмахиваясь от протянутых к ней рук, встала со своего места и важно направилась к фокуснику. Несмотря на крайнюю плотность толпы, зрители послушно расступались перед неустрашимой формовщицей, позволив ей беспрепятственно подняться на сцену, где уже был водружён огромный фанерный короб, рядом с которым поблёскивала допотопная двуручная пила.

– Ну, пожалуй, приступим, – деловито заметил фокусник, помогая формовщице забираться в короб.

Ассистент опять приволок из-за кулис табуреты, между которыми поставили короб с находящейся там формовщицей.

– Ан, каков злыдень! Перепиливать будет! Ну дела! – загудел зал.

Мой сосед лукаво посмотрел на меня. «А сейчас смотри внимательно, следи за головой», – шепнул он мне скороговоркой и начал оглядывать зал, оставив без внимания опасный номер. Я и прежде был уверен, что он неслучайно здесь оказался, теперь же у меня больше не было сомнений, что мой сосед прекрасно посвящён во все тонкости артистического действия и сопричастен к происходящему на сцене.

Фокусник и ассистент взяли за инструмент и начали азартно распиливать короб с формовщицей. Я не спускал глаз с её головы, но в какой-то момент наблюдаемая картинка сделалась нечёткой, и я потерял из виду ближайший ко мне торец короба, с торчащей оттуда головой жертвы. Теперь там, где должна была быть голова формовщицы, зияло пустое отверстие, свидетельствующее о том, что артисты пилили пустую конструкцию. Однако они доделали своё дело. И лишь тогда, когда подошло время раскланиваться и срывать овации, фокусник заметил, что распиленный короб пуст. Он живо подбежал к своему реквизиту и начал поспешно разбирать его, не понимая, куда же могла деться формовщица. Под громы аплодисментов фокусник заглядывал в открывающиеся там пустоты, и не меньше восхищённой публики был озадачен пропажей подопытной.

– Куда ты дел нашу Валю? Хорош! Давай вертай Валентину взад! – зазвучали нестройные голоса литейщиков. Но фокусник только кланялся и криво улыбался. Ассистент, опасаясь расправы, собрал табуретки и проворно удалился со сцены, оставив фокусника отдуваться за исчезновение формовщицы.

Тем временем, литейщики не унимались. Их голоса звучали всё громче и настойчивей, перекрывая отдельные выстрелы нестройных рукоплесканий. Но вскоре восторг, сопровождаемый хором аплодисментов, сменился негодованием, которое с каждой минутой накапливалось и укреплялось, становясь поистине угрожающим.

– Валю верни! – ревели собравшиеся. Но фокусник только кланялся и расхаживал по сцене взад-вперёд, шаря глазами во все стороны, очевидно высматривая, куда же могла пропасть несчастная формовщица. Я понял, что медлить больше нельзя и повернулся к своему соседу, равнодушно созерцавшему происходящее.

– Верните Валю! Ещё немного и народ просто разорвёт артиста! Я знаю этих людей, поэтому прошу вас немедленно вмешаться!

– Ну, хорошо. Успокойся и внимательно смотри на сцену.

Сцена вновь подёрнулась полупрозрачным флёром, и через мгновение я увидел рядом с обмякшей и потерянной фигурой фокусника грациозную формовщицу, звонко хлопающую в ладоши.

– Ура! – заорали заводчане. Послышались ответные хлопки, а литейщики, угрюмо пробирающиеся к сцене, разом остановились и присоединились к всеобщему ликованию.

Артист ожил, и на его лице вновь засияла улыбка. Возвращение потеряшки он решил записать на свой счёт и, перекрывая всеобщее одушевление, громогласно объявил:

– Вот так мы решили убедить вас в том, что чудеса случаются и в нашей повседневной жизни! Только магические практики, только приобщение к таинствам посвящённых и вообще никакого мошенства! – Он тоже нервно захлопал, проводив таким образом возвращённую из небытия активистку на её прежнее место.

– Ну а сейчас мы покажем вам кое-что ещё, – артист вытянул руку в сторону кулис и оттуда вновь показался напуганный ассистент. – Сейчас мой помощник попросит у кого-нибудь из вас один предмет личного обихода.

Кто-то из стоящих у сцены протянул ассистенту белый носовой платок. Ассистент принял платок, передал его артисту и быстро удалился, несмотря на красноречивые жесты фокусника, не желающего больше оставаться на сцене в опасном одиночестве.

– Смотрите, – заворковал фокусник, – я кладу платок в свой карман, а он тем временем возвращается в карман владельца!

– Дак что той платок! – пискнул кто-то из зала. – Чирик давай взамен оногo! А платочек себе остав!

Зал рассмеялся.

– Чирик! Чирик! – заскандировали заводчане. – Червонец заместо платочка!

Артист опять потух и засуетился.

– Хорошо бы и нам чтонтъ перепало, вот тогда это будет взаправду по-фокусному! – послышался из угла тоненький женский голосок.

Артист совсем смешался. Нервно закусил губу и изобразил мысль.

– Хотите чтоб вам всем прибыло и перепало? – раздался грубоватый бас откуда-то из-за кулис, а мне показалось, что мой сосед бесшумно пошевелил губами.

Зал притих, многие начали растерянно оглядываться, в надежде понять, откуда мог доноситься голос. Но этот голос, похоже, воодушевил всех. Зал взорвался в однозначном требовательном призыве к немедленному действию.

– Хорошо! Приготовьтесь к овеществлению. Расписок не нужно. Держите шире ваши карманы!

Все в зале предвкушали дармовую раздачу, кроме артиста, который что-то невнятно бормотал, и в его нескладных движениях прочитывалось отчётливое желание смыться.

Возбуждённая публика напряжённо ожидала чуда, нестройно гомоня под стать беспокойному морю, порой взрываясь набегающими волнами, и отчаянно бурля в промежутках веле-речивой играющей рябью.

– Часы! Дедушкины часы! – послышался чей-то отчаянный вопль.

– Брошь тётушки Настасьи! А мы-то обыскались! – обрадовано прокричал кто-то.

– Бляшек-то, бляшек медных сколько! – восхищался другой.

– Надо же – из фарфора! Это, наверное, и есть те самые барыневы бирюльки! – девушка удивлённо смотрела на диковинные предметы, не понимая, для чего они нужны и зачем.

Вскоре отовсюду посыпались голоса, возвещавшие об обнаружении у себя вещей, недавно утерянных или же утраченных ещё во времена прабабушек, но о которых ещё сохранялась память.

Да и сам артист доставал из карманов разные побрякушки, раскладывая их на поверженном фанерном коробе и иногда просматривая их на просвет. Только никому не было до него дела, поскольку все занимались тем же.

– Позвольте! Но такого же не может быть! Как вам всё это удалось устроить? – напирал я на соседа. Шарить по своим карманам мне представлялось низким и недостойным занятием, и я предпочёл сразу же обратиться к тому, кого считал виновником создавшейся неразберихи. Человек в плаще удивлённо на меня посмотрел.

– Отчего ж не может-то? Что тебя так расстроило? Люди слышали об этих вещах, так пусть они хотя бы на них посмотрят.

– Но они же ненастоящие! Вы же наверняка потом всё у них отнимите!

– Эти вещи не более ненастоящие, чем всё на свете. Да мне-то вся эта чепуха зачем? Пусть владеют и радуются.

– Но это же иллюзия!

– Если хочешь знать, то всё, что ты видишь – и есть самая настоящая иллюзия. Но это иллюзия особого рода, не такая, о которой вы все привыкли думать.

– То есть это как?!

– На непризнании того факта, что всё видимое и осязаемое суть иллюзия, только и держится ваше самосознание.

– То есть, и меня что, тоже не существует?

– Нельзя так ревностно отстаивать свои заблуждения. Остынь и посмотри в зал...

Я обернулся туда, где прежде находилась сцена и ничего там не увидел. Ни артиста, ни занавеса и кулис, ни затоварившейся публики. Но самое удивительное было в том, что наблюдаемая пустота не вызвала во мне никакого недоумения. Хотя и пустотой её тоже было назвать сложно. В каком-то смысле она, скорее, походила на телевизионный студийный экран, на который кинематографисты проецируют изображения, разве что содержала в себе не два плоскостных измерения, а гораздо больше. Собеседник мой тоже никуда не делся, хотя ни себя, ни его я больше не видел. С точки зрения здравого смысла это меняло абсолютно всё, но почему-то такая метаморфоза не вызвала качественной перестройки моего сознания.

– Позвольте вас тогда спросить, к чему были все эти примитивные фокусы, если возможно вот такое? – спросил я того, кто ещё совсем недавно являлся моим соседом в партере заводского клуба.

– Ты, вижу, хочешь понять природу реальности, опираясь на константы, конечные числа и сходящиеся ряды? А как тебе реальность приблизительных множеств, бесконечных значений и неопределяемых величин? Изучение природных явлений принято вести в рамках понятного и проверенного научного языка, но чтобы ответить на твой вопрос нужен совершенно иной подход, где нет и не может быть знакомых тебе терминов. К тому же, многие каналы восприятия у тебя закрыты, в противном случае, ты бы не нуждался ни в какой иллюзии.

– Выходит, наша реальность – не более чем точка посередине опрокинутой восьмёрки, символизирующей бесконечность?

– Неудивительно, что в бессчётном поле возможностей реализуемо и то, что определяется конечным, сочетаемым и непрерывным.

– Честно говоря, не нравится мне слово «иллюзия». Я бы предпочёл заменить его на «представление». Представление о жизни, представление о счастье и мире вокруг тебя, без дерзновенных попыток разобраться, откуда оно исходит.

– Да, мысли свойственно воплощаться в слове, а представлениям – в материи и нашем с тобой растожествлении. И не нужно искать понимания природы такой причинности, ибо важнее и дороже всех истин – «человечества сон золотой»...

...Может быть потому, что мне не удалось восстановиться после тяжёлой смены, внимание моё ослабло, и я временами переставал сознавать то, что происходило на сцене. К реаль-

ности меня вернул зал, утонувший в овациях. Фокусник и его ассистент, остановившись перед суфлёрской будкой, долго и низко кланялись, выкрикивая какие-то приветственные слова, только их не было слышно, поскольку всё перекрывалось громким рукоплесканием зала. Кто-то поднимался со своих мест и аплодировал стоя, рукоплескал даже мой седовласый сосед в немодном чёрном плаще. Я, поддавшись общему движению, тоже встал со своего места и отдал должное стараниям артистов. Сосед одобряюще мне кивнул и, наклонившись, что-то неразборчиво прошептал мне в ухо.

Что он мне прошептал, я не расслышал, и уже на улице, на память пришли какие-то удивительные слова – слова про «реальность приблизительных множеств, бесконечных значений и неопределяемых величин». Странные и непонятные слова. Но почему-то меня не покидала уверенность, что именно этой фразой, которую я не сумел расслышать, и распрощался со мной седовласый сосед в немодном чёрном плаще... Более того, я даже был уверен, что он и пришёл туда именно затем, чтобы её произнести...

Весна

Звери и птицы хорошо знают, что такое весна. Помнят о ней деревья и многолетние травы, помнят ожившие насекомые, занятые своим единственным и важным делом – радоваться весне и населять землю...

А я не знаю, радоваться ли мне её приходу или продолжать думать о пушистых январских снегах, затейливых позёмках февраля или декабрьском очаровании сумеречного света... Да и что это всё-таки такое – календарная весна года? И почему в ней заключена такая необыкновенная сила?

Ведь если обратиться к лексикологии, то слово «весна» даже по своему звучанию стоит особняком среди иных слов, обозначающих сезоны. Торжественно и легко звучит для меня слово «лето». Оно парящее и невесомое, как дуновение морского бриза, трепетное и цветистое, как волшебное крыло бабочки. В слове «зима» – напротив, я слышу скрип утреннего снега и улавливаю пряный аромат свежего морозного воздуха. Долгим и тягучим эхом отзывается в моей душе слово «осень», тревожа тихим шелестом увядшей листвы и далёкими голосами улетающих птиц. Это слово более всего волнует и ласкает мой слух. Наверное, и расположено оно где-то в нижнем звуковом регистре, полном нежной мелодии тишины, будучи своеобразным «меццо пиано» замороженной природы... Лишь слово «весна» для меня – по-прежнему остаётся загадкой. Хотя не могу не признать, что в его последнем слоге ясно читается щедрая и многообещающая диада, состоящая из давней надежды и сокровенной мечты.

Не знаю почему, но слово «весна» тянет за собой неизъяснимое множество ассоциаций, порою, совершенно странных и неожиданных. Например, передо мною зачем-то возникает образ Дельвига, ленивого и беззаботного, но в то же время неистощимого в бескорыстной помощи друзьям и бурлящего разнообразными замыслами и идеями. Рядом с ним также высветливается и образ его жены, бесконечно влюбчивой и привечающей всякого, на неё смотрящего. И как объяснить, что только весной, меня не покидает ощущение, что бодрящие ветры, дующие с разных сторон света, несут в себе дыхание оставленных мной уголков земли, где я некогда жил и где случалось встречать самые разные вёсны, как наполненные полуденным зноем, так и богатые нетающими снегами.

Размышляя о весне, о присущих ей бесконечных преобразованиях и её сокровенных смыслах, мне иногда вспоминается ловкий фокусник, которого я некогда видел в детстве в городском клубе. Он мог незаметно менять свой облик, угадывать чужие имена, доставать из пустых ёмкостей разнообразные предметы, не забывая при этом манерно паясничать и кривляться. Казалось бы, как можно увязывать ухищрения искусного трюкача с преобразованием стылой земли в цветущие острова, покрытые бархатным первоцветом; с перевоплощением кустов и деревьев, получивших себе яркие пушистые кроны; с внезапным появлением птиц, призванных с далёкого юга... Но только душе не прикажешь, что можно соотносить и сравнивать, а что – нет. «В счастье есть обманчивое что-то...», – сказал поэт, правда не уточнив «что». И в чудесах весны тоже очень много этого неразгаданного и неизъяснимого.

Люди, в своём большинстве, безотчётно приветствуют и ждут весну. А мне весной невесело и бесприютно. Хотя воздух весной дразнит несбыточным и пьянит будущим. Хочется дышать глубже и беспрестанно мечтать. Но я, как в детстве, смотрю на все проделки весны, происходящие на сцене бытия, со своего последнего ряда и лишь изредка аплодирую её концептуальному искусству.

Искусство, по мысли Шкловского, призвано остраниать вещи, делать их особенными, выходящими за грань привычного восприятия. Не думаю, что у осени или зимы не достанет того же искусства, который наличествует у весны, но вопреки весне, принимая их иллюзорные посулы, никогда почему-то не чувствуешь себя обманутым. На ум сразу же приходят зароки

зимы, когда она подходит к новогоднему кануну в образе сурового Деда Мороза с его объёмным заплечным мешком: «Сыплет орехи, деньги считает, шубой шумит, всем наделяет, всё обещает, только сердит». Да, легко и радостно слышать шуршание его шубы, но верить его обещаниям совсем необязательно, как необязательно верить любому высокому искусству. А весна призывает верить ей по-настоящему, потому что говорит о сокровенном. Оттого её иллюзии способны вращаться в судьбы, менять дихотомию добра и зла, переориентировать стремления и переставлять знаки у привычных и, казалось бы, вполне понятных вещей.

Однако в чём несравнима весна, так это в чистоте и прозрачности формируемого ею пространства, будь то городская среда с нагромождением зданий и проводов, или лесные чащобы с их хитросплетением трав и деревьев. У весны не бывает ни жаркого марева лета, ни морозной дымки зимы, ни зябкого тумана осени. Воздух весны чист и прозрачен, и всё вокруг кажется нарядным и праздничным, представая во всей своей первозданной красе, неомрачённой никаким флёром. Как это ни покажется странным, но такое же очищение происходит и с памятью: из её сокрытых глубин вдруг являются лица тех, с кем тебя давно уже разлучило своенравное время – лица прежних школьных друзей, институтских товарищей, полузабытых коллег и знакомых. Зачем-то тянут к себе тесные дворы детства, городские окраины, тихие закоулки и парки, словно ты там что-то забыл когда-то и вот теперь, посетив, собираешься вспомнить.

Несмотря на всю свою приятную наружность, у весны резкий и пронзительный голос. В её быстрой речи преобладают взрывные согласные, предложения у неё ясные и короткие, а все её глаголы используются исключительно в повелительном наклонении. Но записывать за ней – никак не получается. Маяковский убеждал, что о весне надо писать весною, но я рискнул послушаться классика, поскольку совсем не знаю и не понимаю её языка. Как, впрочем, и саму весну. Вопрос, который я поставил в начале, так для меня и остаётся вопросом: «Что же это всё-таки такое – календарная весна года?»

С мыслями о чём-то большем. На Большой Зеленина

Художник Станислав Басараб любил писать портреты домов, причём делал это по всем правилам портретного искусства, передавая в каждом изображении не только подлинный характер и неповторимые внешние особенности выбранной архитектурной модели, но и подчёркивая тот непосредственный статус, который изображаемое строение занимало в городской среде. И он, как истинный портретист, несказанно удивлялся тому, что я не желал следовать его примеру, а отдавал дань такому незамысловатому жанру, как городской пейзаж.

Сложно сказать, какой район города внёс больший вклад в создание портретной галереи Станислава Басараба. Но точно знаю, что многие его «типажи» родом с Петроградки, где мы с ним частенько бродили вместе в поисках подходящей натуры и всегда находили то, что потом уносили с собой, запечатлев увиденное в карандаше и красках.

В своих предпочтениях мы почти никогда не сходились и подчас писали город, стоя спиной друг к другу. Наши вкусы сошлись, пожалуй, только на доме номер двадцать восемь по Большой Зеленина. Станислав неспешно обдумывал образный строй предстоящей портретной работы, а я долго не мог уловить внятного звучания городского мотива, в который планировал вписать понравившийся мне дом.

Однако нашим планам не суждено было сбыться. Станислав так и не успел приступить к задуманному, а я, в знак почтения к памяти рано ушедшего художника, и вовсе отказался от этой затеи. Но мой интерес к дому на Большой Зеленина никуда не делся, и я старался узнать как можно больше и об истории этого здания, и о том, кто там жил и что там вообще происходило. Особенно меня впечатляли огромные мансардные окна, говорящие о наличии на верхотуре здания больших мастерских, принадлежащих художникам, и, конечно, красочное мозаичное панно, опирающееся на округлые наличники-архивольты четвёртого этажа. Вечером, когда солнце ещё не успело зайти за горизонт, а окна лицевого фасада уже наполнялись электричеством, дом становился похожим на грандиозную картину, заключённую в объёмную раму земли и неба.

Как я и предполагал, здание было спроектировано архитектором, причастным к искусству станковой и монументальной живописи. Оно стало первой серьёзной работой талантливого архитектора Фридриха Августа фон Постельса, посвятившего себя не только архитектуре, но и живописи, графике, дизайну малых архитектурных форм и интерьеров. Здание было построено для любителя изящных искусств герцога Николая Лейхтенбергского, который мечтал заселить его творческими людьми, поэтами и художниками, соорудив для последних светлые и просторные мастерские. Так оно и вышло – здание заселили художники и люди других творческих профессий, создав притягательный центр для всех тех, кому была интересна городская культура, и кто был непосредственно к ней причастен. Чьи только руки не прикасались к входной дубовой двери дома, над которой парили две изящные музы, грациозно приветствующие всякого сюда входящего. Всех перечислить попросту невозможно, но гений этого места хорошо помнит и Леонида Андреева, и Ивана Бунина, и Александра Куприна, и Викентия Вересаева, и Александра Блока, а ещё множество других, пускай не столь известных, но хорошо знакомых здешнему *genius loci*, для которого все важны и все значимы. И надо же было такому случиться, что имена всех причастных к этому месту не канули в Лету, а сохранились в семейных и государственных архивах. Причиной тому послужила архитектурная ценность возведённого здания, получившего помимо наименования «доходного дома герцога Лейхтенбергского», ещё и своё номенклатурное обозначение – «дом на Большой Зеленина, 26-б». Впоследствии, правда, номер дома несколько изменился, прибавив к себе две единички и утратив путающую почтальонов приставную литеру.

Меня, конечно, в первую очередь интересовали проживавшие здесь художники. Я много лет веду картотеку петербургских художников, собирая по крупицам всё, что могло быть с ними связано, стараясь учитывать все факты и все детали. И благодаря состоявшемуся достопримечательному знакомству, моя картотека смогла обогатиться новыми неизвестными именами, которые ранее мне почему-то не встречались, и дополниться интересными подробностями в библиографических карточках тех мастеров, что были оформлены прежде.

Разумеется, я знал художника Ивана Пархоменко, с ним, пожалуй, я познакомился ещё в детстве, когда надел на себя октябрятскую звёздочку с изображением юного вождя, которое сделал художник в рамках своей личной ленинианы. Я вообще испытывал к Ивану Кирилловичу неподдельный интерес, мысленно с ним споря и с чем-то не соглашаясь. Пархоменко представлялся мне гоголевским Чартковым, услышавшим протекторский призыв герцога Лейхтенбергского и устремившимся вслед за ним, отчего пришлось затеряться в пространствах и временах. Меня всегда несказанно удивлял феномен личности, стремившейся наделить себя содержанием, несоответствующим форме. И кем только не представлялся Иван Кириллович, чтобы придать своей фигуре большую значимость. В ход шли такие определения, как «лучший живописец революции», «художник Кремля» или «профессор Вольной Академии», тогда как никакой Вольной Академии не существовало в природе. Но хлестаковщина закончилась для художника плохо: он оказался в тюрьме, а затем в фактической ссылке, где, правда, снова занялся собственным мифотворчеством. В конце концов, его простили, но в клуб имени герцога Лейхтенбергского он более не возвращался.

Не уверен, что поведение Ивана Кирилловича было как-то связано с местом его проживания в доме для избранных служителей Аполлона. Хотя и эта частность тоже могла иметь какое-то значение. Но, на мой взгляд, решающую роль здесь сыграла одна интересная особенность времени, которая существенно повлияла на мнительного и честолюбивого Пархоменко. Дело в том, что начало двадцатого века было ознаменовано таким странным явлением как жизнетворчество. Родившись в эпоху Романтизма, жизнетворчество призывало художника выстраивать свою жизнь не по общепринятым законам, а согласно собственным принципам, утверждавшим самоценность и инаковость творца. Мода на жизнетворчество менялась во времени, и когда повсюду заиграл пастельными красками и откровенными формами «бесстыдный стиль модерн», увлечённость жизнетворчеством вновь дала о себе знать.

Однако вернёмся к другим обитателям дома герцога Лейхтенбергского, с работами которых мне не нужно было знакомиться.

Кроме октябрятской звёздочки с рельефом Ильича от Ивана Пархоменко, в моих детских коллекциях имелась ещё одна вещь, авторство которой принадлежало художнику здешней обители. Это был памятный знак, выпущенный в честь 300-летия царствования Дома Романовых, где плечом к плечу были расположены две фигуры: Император Николай II в форме 4-го Лейб-гвардии стрелкового полка и царь Михаил Фёдорович в шапке Мономаха. Бронзовая медаль с рельефом, исполненным Георгием Малышевым, хранилась в коллекции старинных монет, доставшейся мне от прадеда. Как известно, Георгий Иванович Малышев был соседом Ивана Кирилловича, и кто знает, может быть, их мастерские находились рядом.

Впрочем, с работами Георгия Ивановича я имел возможность соприкоснуться не только в детстве, но и в своей студенческой юности. Иногда, по субботам, я приезжал в гости на Наличную улицу к своему вузовскому профессору для философских бесед и обмена впечатлениями от выставок и тематических вечеров в Лектории. Его дом не был столь интересен снаружи – обычная хрущёвская пятиэтажка, зато внутри, в квартире, меня встречал самый что ни на есть музейный интерьер. Хозяин был великолепным мастером: он не только мог изготавливать затейливые украшения из серебра и полудрагоценного камня; он из тропических пород дерева, взятых от бесхозных ящиков из-под экзотических фруктов, выложил у себя в квартире такой изумительный паркет, которого я не видел даже в парадных эрмитажных залах. Его

квартира была вообще очень интересным местом. Профессор знал толк в редких и дорогих вещах: какие-то из них достались от родовитых предков, что-то он раздобыл на различных блошиных рынках, а некоторые вещи были изготовлены им собственноручно. Хозяйка дома была внучкой фрейлины Александры Фёдоровны, и я мог листать альбомы с фотографиями, снятыми Императором, и пить чай из чашки с личным вензелем Императрицы. А по дороге к профессору я обычно заходил в антикварную лавку на Наличной, где покупал битые старинные рамы, которые затем восстанавливал и вставлял туда свои холсты с танцующими городами.

Там, в антикварной лавке, я проходил мимо полок и витрин, плотно заставленных великим множеством статуэток из бронзы, керамики и поделочного камня. В то время меня совсем не интересовала мелкая пластика, тем не менее, я старательно заносил в свою художественную картотеку фамилии авторов этих фигурок и их названия. Просматривая свои давнишние записи, я обнаружил, что в том салоне были представлены произведения двух скульпторов, проживавших в доме герцога Лейхтенбергского: работы уже упомянутого Георгия Ивановича Малышева и анималиста Артемия Лаврентьевича Обера.

После такого открытия, я, пожалуй, совсем бы не удивился, если бы мне удалось найти и другие свидетельства косвенного присутствия в моей жизни кого-то оттуда ещё. И вскоре таковые дали о себе знать: среди старых писем я обнаружил открытку с репродукцией Варвары Раевской-Рутковской; помимо неё я нашёл у себя уцелевший отрывной календарь за 1971 год с картиной Александра Коровякова; на книжных полках, в разделе краеведения, оказалась книга ученика Репина, Николая Шабунина; а к рамке фотографии деда крепилось Знамя Победы, разработанное художником Василием Бунтовым... Таким образом карточки моего художественного архива с фамилиями перечисленных живописцев дополнились важной пометкой: «Были прописаны по адресу – Большая Зеленина, 28».

Конечно, в моей картотеке присутствовал и Василий Иванович Шухаев, против фамилии которого значилась именно такая пометка. Мне, как и всякому, кому небезразлична история русской живописи, был знаком «Портрет Ларисы Рейснер – Красной розы революции», принадлежащий его кисти. Поэтесса Рейснер, легендарная женщина-комиссар, жила в том же доме, что и художник, поэтому неудивительно, что Шухаев, вряд ли разделявший её идеалы, решил оставить для потомков её образ.

Дальнейшее изучение архивных телефонных номеров тамошних квартиросъёмщиков было для меня самым интригующим, самым занятным. Установить профессиональную принадлежность каждого жильца так и не удалось, однако получилось отыскать несколько имён художников в списках выпускников соответствующих учебных заведений. Таковые среди жильцов дома нашлись, только о них вообще не имелось никаких сведений. Они не значились в городских архивах, и ни одного свидетельства относительно их жизни и творчества не смогли отыскать для меня знакомые всеведущие коллекционеры. Сколько бы времени я не потратил, просматривая итоги аукционов в попытке отследить фамилии Томара, Медведева, Рассадина, Мясникова и Плачека, результат всегда оказывался неутешительным. Разве что удалось найти в музее Академии один учебный рисунок Плачека, выполненный, кстати, с редким умением и талантом, и две акварели Медведева, так и оставшиеся нераспроданными на аукционе живописи. Эти, не оставившие о себе никакой памяти художники, будоражили моё воображение более всего.

Многими годами ранее, в те времена, когда мы со Станиславом Басарабом бродили в поисках сюжетов по Петроградке, нами была освоена свалка в Литейном дворе Академии художеств, где мы брали холсты и подрамники, устраивая тем самым им вторую жизнь. Найденные картины мы беспощадно записывали, подчас вставляя их в те же рамы, что были обнаружены вместе с выброшенными холстами. Надо сказать, что иногда наше самонадеянное письмо ложилось на удивительно искусную живопись чьих-то работ, по неизвестным причинам оказавшихся ненужными для прежних владельцев. Здесь, в близлежащих домах, с первых дней

Академии располагались мастерские художников и их квартиры, собственники которых менялись, отчего помещения регулярно освобождались от результатов чужого труда. Служители цеха имени святого Луки редко когда прислушиваются к творческим исканиям своих собратьев по ремеслу, поэтому надеяться на их рачительность и благоразумие, по крайней мере, очень наивно. Обычно художники немилосердно расчищают место для собственного творчества, и горе тем полотнам, что не успели вовремя оказаться в музейных или частных собраниях. Здесь достаточно вспомнить как обошёлся с работами графа Толстого сменивший его на посту вице-президента Императорской Академии художеств князь Гагарин. Новый вице-президент ничтоже сумняшеся приказал очистить мастерскую графа и выкинуть все его шедевры вместе с наличествующими там материалами и инструментом. И подобных свидетельств – превеликое множество, да мне и самому привелось видеть, как отсутствующее стекло в общей кухне коммуналки было забито этюдом Николая Хохрякова, а на совершенно осыпавшейся картине в санузле сушились мокрые тряпки.

Ситуация, когда от жизни художника остаётся только строка в телефонной книге, может показаться кому-то нелепой, однако судьбы людей слишком сложны и объёмны, чтобы смотреть на них свысока или вскользь. Обычно мы обращаем внимание лишь на тех, кто на марше идёт в первой шеренге, не отдавая себе отчёта в том, что никакое движение было бы невозможно без тесной спайки всех участников – от замыкающих до правифланговых. Был ли возможен Пушкин как феномен русской поэзии без своего окружения, преимущественно оставшегося в истории литературы в его пронзительных эпиграммах? Полагаю, что нет, хотя перед лицом вечности, безусловно, равны все.

Просматривая предоставленный мне список абонентов жильцов дома на Большой Зеленина, меня не оставляло желание им позвонить. Я понимал, что все городские номера уже давно превратились в семизначные, и что позвонив по указанным коротким цифрам справочника, я даже не услышу телефонного гудка. Но мне всё равно хотелось это сделать, вернуть невозвратимое хотя бы в ощущениях, прочувствовать ту ауру созидания, что питала тех, кто некогда прикасался к ручке двери под летящими музами, застывшими в камне.

Просматривая объявления о продаже квартир и съёме жилья на Большой Зеленина, я обнаружил, что наибольшее количество таких сообщений принадлежит именно дому номер 28, отчего задача проникнуть туда не оказалось столь неразрешимой.

В парадной дома меня встретил найденный кафель пола и широкая лестница с лёгкими ажурными перилами из переплетённых стеблей растений с венчающими их лепестками. Мне было несложно представить, как век назад по этим ступеням взлетал на четвёртый этаж к любвеобильной Ларисе Рейснер легкомысленный Николай Гумилёв, или как неспешно и важно поднимался этажом выше на сеанс к Ивану Пархоменко историк и депутат Государственной Думы Николай Иванович Кареев. И если бы смешались и перепутались все времена, то я вполне мог бы здесь, у огромного полукруглого окна лестничной площадки, разминуться с Сергеем Городецким и наблюдать, как спускается ко мне навстречу погружённый в свои грёзы и не замечающий ничего вокруг себя поэт Константин Фофанов. Мне даже примечталось, что, может быть, многим позднее, через какое-нибудь столетие, кто-то знающий и любопытный, так же как и я, пройдёт по этим ступеням, и будет следить тени тех, кто некогда был здесь и оставил для племени молодого и незнакомого что-нибудь нужное и интересное.

Из окон квартиры, в которой я оказался, хорошо просматривалась вся улица с чудесными домами, украшенными изящными фронтонами и частоколами труб, а на перекрёстках высились остроконечные доминантные башенки. Внизу, под тяжёлым эркерным балконом с круглой решёткой, блестели мокрые от дождя тротуары, которые убегали куда-то далеко-далеко, прямо к расцветенному вечерними огнями неровному горизонту. Именно о таком городском мотиве я и мечтал тогда, когда мы со Станиславом Басарабом кружили здесь вокруг да около, так и не найдя тех заветных точек, где бы смогли поставить свои этюдники. Вот был бы обрадован Ста-

нислав, окажись он здесь, под высокими узорчатыми потолками с ещё сохранившейся затейливой лепниной, где так много света от больших окон, а в углу комнаты расположился бело-снежный камин, выложенный бликующей ваулинской глазурью. Все мы, служители Аполлона, избранные и отверженные, можем с лёгкостью пренебрегать необходимым, но совсем не умеем и не способны обходиться без лишнего. Хотя в нашем недружном содружестве исключительно сложно отыскать двух похожих друг на друга художников, даже если смотрящий на нас со стороны приметливый зритель так и не найдёт никаких различий. И правда: нам со Станиславом нравились одни и те же живописцы, мы любили одних и тех же поэтов, но он был открыт миру и взывал неба, я же был нелюдим и любил землю, всячески стараясь занавешивать небо на своих работах, воспринимая его только лишь как источник света.

Зрители практически не взаимодействуют с художниками и их не знают, на них обращают внимание только искусствоведы, выстраивая всех по ранжиру и присваивая всем порядковые номера. Правда, я не могу понять, как это возможно, когда все принадлежат, порой, к совершенно разным пространствам, по образцу и подобию мультивселенной, с её бесчисленными инфляционными пузырями, в которых господствуют свои физические законы и наличествует свой особенный отсчёт времени.

– Нет, никогда ты не будешь хорошим портретистом, но эту твою работу, мы, пожалуй, заберём в фонд, – как-то сказал мне однажды наш педагог Сотников, который вёл у нас портрет в вузе.

– Что так? – ввязался в разговор мой сокурсник Сергей Кудрявцев, который ни одно замечание в учебном классе не оставлял без внимания.

– Да он споткнётся уже на втором заказчике от психологической перегрузки. Это здесь натура молчит и даёт вам в учебных целях возможность её изобразить, никак на вас не повлияв и никак вас не потревожив.

– Так на то она и натура, чтобы молчать и ждать результата, – не унимался Кудрявцев.

– Спорить здесь с вами не буду, – отвечал Сотников, – просто отошлю к Серову, к его словам и мыслям. Почитайте, Сергей, как бесила его Императрица своими неуместными и нелепыми замечаниями. И это Серова-то – тишайшего и уравновешенного!

Мой педагог Сотников, будучи великолепным портретистом, хорошо знал своё дело и оттого прекрасно умел провидеть профессиональное будущее подопечных. Пытаясь после института зарабатывать портретной живописью, я споткнулся уже на втором заказчике. Сеансы доставляли мне такой психологический дискомфорт, что я уже готов был сам дать заказчику денег, чтобы тот навсегда убрался куда подальше. Меня тянуло в лес и на тихие городские улицы в лучах рассветного солнца, когда город ещё полностью не пришёл в себя и по-прежнему пребывал в сладкой ночной неге. Прав был Сотников, психология управляет выбором жанра, а не талант и умение. Вот Станислав Басараб легко умел найти контакт и взаимопонимание с заказчиками, вознамерившимися запечатлеть себя в живописи, поэтому и создал за свою короткую жизнь немало хороших портретов. Пусть натура и «вела» его руку, зато не умела его себе подчинить. Как искусный портретист он легко разделял подлинность и «кажимость», оставляя на холсте первое и не давая ход второму, как бы ни упорствовал в том упрямый заказчик. Меня же такие запросы приводили в замешательство, нарушали душевный покой и не давали работать. Оттого я предпочёл нахрапистым «всезнающим» моделям лес и безмятежность утренних улиц. Они не пытаются смутить мне душу, напротив, я очень люблю вслушиваться в их белый шум и искать там необходимые подсказки.

И вот теперь, рассматривая из высокого окна заманчивую городскую перспективу, я думал, как мне увековечить хотя бы частицу этого прекрасного сущего и воплотить толику несбывшегося от многих тех, кто век назад был очарован этим пейзажным мотивом, который сейчас так величественно звучит снизу, из городской оркестровой ямы. Мой давний замысел обрёл, наконец, силу и зримую плоть, чего не получалось у меня прежде, когда я пытался про-

чувствовать *genius loci* этого места, ничего о нём не зная и не имея представления о живших здесь людях. Пожалуй, возможность «очеловечить безличное», открыть его и осмыслить появляется лишь тогда, когда с него, как с заговорённого клада, снимаются все заклятья и становятся понятны надежды и мотивы тех, кто жил до тебя раньше. Тогда реализация задуманного становится насущной необходимостью, снимаются все табу и «пламенная тень запоздалых видений» становится зримой. А твоё авторство в этом случае превращается в миссию, в которой сам творец не имеет значения, поскольку любая предметная сущность всё равно живёт своею собственной независимой жизнью. Предметов искусства это касается в первую очередь, ибо все творения уже давно незримо присутствуют в мире, как некогда очень верно заметил проницательный граф Толстой. Нужно только стать сопричастным времени и месту, проникнуться своеобразием «безличного» и принять ответственность за открывшуюся возможность его «очеловечить».

Демон Лапласа

*Как можно свободу на цепи менять?
Владимир Раевский «Идиллия»*

Кому как, а мне нравится путешествовать в поездах. В поезде я не чувствую устойчивой связи с землёй и её физическим измерением, отягощающим меня обстоятельством места и степенями вынужденной несвободы. Да и время обретает некоторую условность, поэтому в поезде легче всего приблизиться к пониманию постулатов общей теории относительности, если не непосредственно в определениях релятивистской механики, то, по крайней мере, в психологическом восприятии всех тех сложнейших временных метаморфоз, которые некогда были представлены фундаментальными работами Альберта Эйнштейна.

Впрочем, и вне системы движущихся поездов к понятиям пространства и времени я привык относиться с некоторой осторожностью, поскольку эти вещи видятся мне абсолютно неизмеримыми. И нельзя сказать, что такое отношение к ним появилось в результате постижения законов физики или благодаря моему личному опыту. Скорее всего, восприятие среды обитания и текущего времени дано человечеству априори, детально раскрываясь в его чувственной сфере и нашем общем бессознательном.

Помнится, в детстве я ощущал себя единственной мыслящей точкой в бесконечном пространстве, которое имело смысл и значение только на участке моего с ним непосредственного соприкосновения. Остальной же мир мог быть каким угодно, и до него, собственно, мне не было никакого дела. Вся представляемая вселенная сосредотачивалась лишь в границах моего внутреннего мира, где любое явление подчинялось исключительно личному началу и ничему больше. Времени в этой образной системе счисления просто не существовало, а переменными являлись назначенные мной величины, которым были даны собственные имена, и которым позволялось считаться подлинными объектами воплощённой реальности.

Теперь же моё самоощущение качественно изменилось, и точек сознания обнаружилось превеликое множество. Оттого я уже не могу считать своё личное начало самоназначенным целым, ибо оно, по непонятной для меня причине, оказывается объединённым с неким абстрактным коллективным разумом, включающим в себя чужие миры и иные способы быть. Наверное, так и должна проявлять себя пресловутая ноосфера, ищущая возможность подключения любого разумного существа к своей «мыслящей геологической оболочке».

Прочна ли такая связь – мне неизвестно, но точно знаю, что она разрушается, как только я оказываюсь на первой ступеньке вагона поезда, оставляя неподвижной земле всё то, что меня прежде связывало и тяготило.

По давней привычке я прихожу к началу посадки первым, чтобы свободно занимать своё место в пустом купе. Однако на этот раз такого не произошло. Возле окна уже сидел пассажир, который, увидев меня, сделал удивлённое лицо.

– А вы уверены, что не ошиблись номером? – спросил меня попутчик в явном недоумении.

– Мне редко когда случается ошибаться, – стараюсь быть вежливым, ответил я на странный вопрос, который показался мне бестактным и неуместным.

– Извините, конечно, но просто я был совершенно уверен, что ваше место в соседнем купе, где кроме вас должны ещё ехать мама с дочкой и мужчина-геолог. Он, кстати, из-за боязни опоздать целых три часа просидел на вокзале, а сейчас, наконец, занял надлежащее ему место. Теперь он увлечён распределением своих многочисленных вещей по багажным полкам.

Любопытства ради я заглянул в соседнее купе, в котором действительно какой-то бородастый мужчина разбирался со своими вещами. Проигнорировав свидетельство всезнайки, я снял пальто и сел напротив.

Было в моём визави нечто особенное, не вполне человеческое. Это «нечто» прочитывалось сразу, только им же и оставалось, не позволяя себя осмыслить и приводя меня в некоторое замешательство и недоумение.

– А вы что, о каждом пассажире имеете столь подробные и достоверные сведения?

– О каждом. Вот вы должны были купить билет за три дня до отправления в кассе Витебского вокзала, но срочные дела отвлекли вас, и вы приобрели билет на поезд только вчера.

Посвящённость в сугубо личные дела меня неприятно поразила, и, стараясь не показать своей растерянности, я подавил волнение и поправил нежданного прорицателя:

– Тем не менее, я оставил все дела и купил билет на поезд именно тогда, тремя днями ранее.

– Как же так! Вы не должны были так делать!

– С чего это вдруг? Я сам принимаю решения когда и как мне поступать.

– И всё-таки вы должны были вести себя иначе. Разве можно предположить, что наш поезд пойдёт не по расписанию или вообще так, как ему вдруг вздумается?

– Но человек-то – существо со свободной волей и вправе совершать свои действия, исходя из целесообразности и обстоятельств времени.

– Вот именно! Обстоятельства времени и места и направляют вашу волю, которую вы отчего-то полагаете свободной. В этом смысле вы мало чем отличаетесь от нашего с вами поезда, следующего согласно выверенному расписанию по неизменному маршруту.

Взволнованность моего соседа меня обнадёжила. Только что я размышлял о превратностях места и времени, которым мой собеседник, очевидно, придавал значение решающих факторов в деле формирования человеческой судьбы. Хотя мой случай показательно рушил все его логические построения, обесценивая роль фатальных предопределений и весь его механический детерминизм.

– Но вы явно не принимаете в расчёт беспричинность хаоса и нарушение закона сохранения информации в сингулярности. А человеком, как и любой другой живой материей, управляет именно неосмысляемая стихия и бессознательный раскардаш.

– И вы полагаете, что это нормально, разумно и должно продолжаться и дальше?

– Но ничего разумного не могло бы возникнуть без феноменов хаоса и сингулярности, позволивших сформировать сложнейшую мыслящую материю. Причём этот опыт неповторим и не укладывается ни в одну приемлемую модель, которую можно было бы принять и осмыслить.

– Вы же не будете отрицать, что именно мыслящая материя, как вы выразились, и стремится преодолеть эти две неопределённости, её породившие, – выпалил собеседник. Он был явно взволнован, словно предмет разговора непосредственно касался его незыблемых мировоззренческих установок. – Преодолев случайное, утвердится закономерное – жизнь качественно изменится, и исчезнет само понятие неопределённости будущего.

После этих слов я, наконец, понял, с кем мне пристало иметь дело. На память пришли строчки из Гёте: «А я – лишь части часть, которая была в начале всё той тьмы, что свет произвела, надменный свет, что спорить стал с рожденья с могучей ночью, матерью творенья». Смутная догадка осенила меня, не оттого ль ошибся мой собеседник, представитель «вечной силы», хранитель прошлого и провозвестник будущего, что пренебрёг принципом относительности, но не в научном, а в прикладном, бытовом смысле.

– Простите мою самонадеянность, но одним из наших учёных была высказана мысль, что физические и социальные законы схожи по своим причинам и следствиям. Вселенная стремительно расширяется, разделяя и обособляя миры. Те же процессы происходят и среди людей

– теряются связи и меняются исходные данные через ослабление влияний и из-за непредсказуемого воздействия тёмной материи, которую никто не может ни понять, ни обнаружить. И на всё на это накладываются законы относительности и неопределённости во времени и пространстве.

– Вы хотите сказать, что мои подходы к счислению событий архаичны и к ныне живущим неприменимы?

– Нет, предполагаю, что в каких-то замкнутых системах ваш прогноз будет верным и безошибочным. Пользуемся же мы законами Ньютона в системе трёхмерных координат и небольших скоростей.

– Как вы можете видеть, наш поезд уже тронулся, и два места в нашем купе так и остаются пустыми, так что я ошибся только в вашем случае. Действительно, сложно выверять то, к чему примешивается не только хаос, приблизительные и неисчислимы множества, но и порождённое «могучей ночью, матерью творенья» неизъяснимое нечто, «тёмная материя», природа которой неясна не только для вас.

– Вот видите! А я совершенно уверен, что тёмная материя способна вмешиваться не только в физическое устройство Вселенной, но и в духовный космос, пребывающий у нас внутри!

Моя убеждённость в столь запутанной и неоднозначной проблеме сильно развеселила моего спутника:

– Хотите это проверить? Нет ничего проще. Вводить в расчёты непросчитываемые величины вообще не составляет никакого труда. Но и результат тогда тоже будет непредсказуем. Куда как лучше оказаться там, где никакой безрассудный случай не зачеркнёт будущего, бесцеремонно вмешиваясь в осмысленное и безмятежное настоящее, – необычный попутчик вдруг развернулся и показал мне на дверь, которая тотчас открылась и в её проёме показалась проводница. Она важно выдала мне билет, который только что получила, объявив, чтобы я потопрапливался и проходил в тамбур, поскольку поезд на моей станции стоит не более минуты. Вообще-то до моего пункта назначения ещё оставалось без малого два дня пути, но возражать и что-то доказывать проводнице в сложившейся ситуации, было попросту нелепо. Она удалилась, а попутчик, широко улыбаясь, приветливо помахал мне рукой на прощанье. Я надел пальто, взял свои вещи и направился к выходу.

Поезд остановился на какой-то небольшой платформе, выкрашенной в ярко-голубой цвет. Длина платформы, наверное, не превышала и нескольких метров, поскольку сойти на неё можно было только из дверей моего вагона. На платформе оказался и встречающий, который поприветствовал меня и любезно принял от меня чемодан. То, что он знал моё имя, меня отчего-то совсем не впечатлило.

– Этот поезд никогда не опаздывает, – произнёс встречающий и посмотрел на свои часы, на которых отчего-то не было стрелок. – Мне велено вас сопровождать. У нас нечасто случаются гости, но вы – гость особенный, ибо не все, кому было назначено здесь оказаться, попадают сюда без очереди и так необыкновенно быстро.

– Позвольте, кем назначено и когда? Я следовал в N-ск, и до него было невозможно так скоро добраться. Тем более я знать не знаю ни про какую очередь. В этом вы, наверное, ошиблись.

Мой сопровождающий остановился и покачал головой:

– Никакой ошибки нет. К тому же вы только что разговаривали с тем, от кого я получил подробнейшие инструкции относительно вас. А насчёт N-ска не беспокойтесь, всё в порядке и вы на правильном пути. Более не будет никаких сбоев.

– Да что вы такое говорите! Какие сбои?

– Я же говорю вам, что сбоев больше не будет. Вы просто не привыкли чувствовать себя счастливым, поэтому нервничаете. Не понимаю, зачем носить в душе глубины беспредельно-

сти, следовать неопределённостям хаоса, да ещё доверяться тёмной стихии, от которой точно никогда не бывает никакого толку.

– А от чего, простите за глупый вопрос, бывает этот самый толк?

– Да вот посмотрите, – сопровождающий поставил чемодан и стал загибать на руках пальцы. – Загибаем указательный и считаем: слева десятки, справа единицы. Выходит восемнадцать, это я два умножил на девять. Теперь загибаем мизинец, он пятый по счёту, и смотрим. Слева четыре – это десятки, справа пять. Сорок пять. Результат умножения пять на девять.

– Ну и к чему вся эта пальчиковая игра?

– Как это для чего? – замотал головой сопровождающий. – Я единственный здесь, который всё может просчитать и запомнить. У нас каждый выбирает то, к чему более расположен. Поэтому никто не нервничает и все счастливы.

– Какое счастье в таком умении умножать?

– Мне известно о вашем стремлении освободиться от пут земного тяготения, в переносном, так сказать, нефизическом смысле. Поэтому вы предпочитаете поезда. Смеем вам сообщить, что здесь, в N-ске, отсутствуют все измерения несвободы, мешающие человеку прочувствовать своё истинное назначение, и имеется редкая возможность ощутить счастье непосредственно от самого факта жизни, счастье предсказуемое и осознанное, счастье, не омрачаемое ничем.

– Но это никакой не N-ск, а неизвестно что! – не смог я сдержать своего искреннего возмущения от глупейшей ситуации, в которой оказался.

– В чём-то вы правы. Но для вас – это N-ск, для других – станция с иным названием. Однако все спешат и стремятся именно сюда. Думаю, что и для вас, несмотря на всё ваше угрюмство, пока ещё ничего не потеряно, и вы, наконец, обретёте здесь своё подлинное счастье.

– Тогда покажите мне хотя бы одного счастливого! – буркнул я, ясно понимая, что это моё желание явно избыточно и ничего, собственно, никому не доказывает.

– Ну, если вам меня недостаточно, то давайте остановим здесь любого, и он с радостью поделится с нами своим счастливым самоощущением.

Как раз мимо шёл, насвистывая, какой-то полный мужчина с акустической гитарой, на грифе которой болтался преогромный голубой бант.

– Простите, пожалуйста. Милостиво просим вас уделить нам несколько минут бесценного общения с вами и надеемся получить в подарок лучик того счастья, что озаряет вас изнутри, – мой сопровождающий мягко коснулся ладонью плеча шествующего гитариста.

Гитарист остановился и посмотрел не на нас, а куда-то в сторону, словно испрашивал разрешения на контакт. Мне бросилось в глаза то, что его гитара вовсе не имела струн, а голубой бант свободно болтался по грифу так, что окажись на нём струны, сыграть на этом инструменте всё равно было бы невозможно. Но, видно, это обстоятельство нисколько не смущало бродячего музыканта. Он взял гитару поудобнее, достал медиатор и запел.

Медиатор царапал своим остриём по полировке гитары, и в этом был заключён весь аккомпанемент его нестройному пению. Пел толстяк плохо, но было видно, что в этот процесс он вкладывает всю свою душу. Слушать его было просто невыносимо, но мы таки дослушали его до конца, пожаловав ему несколько глухих хлопков в ладоши в качестве благодарности. Самоназначенный музыкант вежливо раскланялся и с большим достоинством удалился, приложив свою пухлую ладонь к сердцу.

Гостевой дом, куда меня было решено поселить, представлял собой несимметричную конструкцию из голубых прямоугольных блоков, поставленных один на другой. Устройство дома показалось мне весьма странным, хотя остальные городские постройки тоже имели схожую архитектуру, словно зодчие, возводившие эти здания, вообще не имели никакого проектного плана. Недостатков в таком строительстве я мог бы отыскать немало, но как объяснил мне сопровождающий, все мои замечания не имели под собой должной основы. Опасения по

поводу открытости и незащищённости этих зданий вообще были напрасны, поскольку, как мне было лишней раз указано, в городке проживают самодостаточные и счастливые люди, не помышляющие ни о каких неблагоприятных поступках и, тем более, не желающие присваивать себе ничего чужого. «Жить надо просто и ясно, чудесно и счастливо, избегая излишеств барокко, утончённости рококо и помпезности классицизма. Ваши утописты искали счастье в равенстве и сопричастности, как необходимой форме взаимоотношений, мы же принимаем равенство лишь в условиях существования, оставляя за каждым жителем его уникальность и особую значимость для остальных», – поучал меня мой спутник, не уставая расхваливать местных обитателей и принятые здесь способы жить. Хотя, как я заметил, пообщаться с проживающими в этом счастливом городке было не так уж просто. Мне представлялось, что такое происходило по причине, о которой говорил мой былой попутчик, когда для закономерного счастливого бытия должны быть исключены все случайные события и раскрыты все возможные неопределённости.

А мой сопровождающий всё твердил и твердил мне о счастье, но я замечал вокруг лишь размеренную неторопливость и неизменную погружённость людей в себя. Все безучастно проходили мимо, не обращая никакого внимания ни на нас, ни на окружающих.

Как-то мы расположились на одной скамейке с пожилым мужчиной, внимательно изучающим какую-то книгу. Мужчина увлечённо вчитывался в отдельные фрагменты текста, другие же, не читая, быстро пролистывал, а какие-то страницы отмечал особо, делая закладки из аккуратно нарезанной голубой бумаги.

Мой спутник держался так, словно даже не помышлял вступить в беседу с нашим соседом по скамейке, но я не мог не заметить, что он хорошо его знал и зачем-то желал меня с ним познакомиться. Здесь, скорее всего, опять имело место желание продемонстрировать мне очередной пример счастливого и свободного человека. И тут надо отдать должное моему знатоку счёта и таблицы умножения: он таки действительно мог знать всё наперёд, поскольку не искал какой-нибудь невинной зацепки, чтобы вступить с ним в разговор, а терпеливо дождался, пока тот, наконец, не сделал неловкого движения и не рассыпал зажатые в руке закладки. Мы тут же оба бросились ему помогать, и здесь мой спутник был уже не столь ненавязчив и молчалив.

– Позвольте вам представить нашего знаменитого писателя, и, пожалуй, не ошибусь, если предположу, что в его руках находится новая книга, вышедшая из-под его вдохновенного пера, – торжественно заявил мой сопровождающий, обратившись ко мне.

Писатель недоверчиво посмотрел на меня и, очевидно, боясь потерять какой-то важный искомый текст, широко раскрыл книгу и с сильным нажимом разгладил ладонью страницы. Я уже начинал догадываться, что в уравнении, описывающим нечто подлинное, обязательно должны присутствовать в качестве переменных такие вещи, против которых был враждебно настроен мой товарищ по купе поезда, поборник тотального детерминизма. Я всегда был убеждён, что невозможно алгеброй поверить гармонию или пытаться разложить вдохновение на составляющие части, не принимая в расчёт непостижимого просветления сознания с чувственным прикосновением к непознанному. Как здесь можно обойтись без того, что невозможно ни учесть, ни обозначить! Поэтому я совсем не удивился, когда увидел, что в книге отсутствует текст и она состоит из сшитых пустых страниц. Но у меня не было никакого желания искать несостоятельные допущения в доказательствах представленной мне формулы счастья и опровергать жизнеспособность пространства, полностью лишённого любых пут несвободы.

– Смею надеяться, что вся ваша книга – о счастье, и о том, как хорошо и легко быть свободным, – заметил я, стараясь наполнить свой голос показным расположением и учтивостью.

– Вы проникательны, – ответил писатель, – я сейчас занят её новой редакцией. Необходимо только развить основные темы и дополнить книгу новыми подробностями, чтобы лучше понимать феномены свободы и счастья.

Однако к беседе писатель, очевидно, не был расположен, и он, приняв от нас все оброненные им закладки, поспешно засобирался, желая избавиться от нашего вынужденного с ним соседства. Попрощавшись, он степенно поднялся и пошёл прочь, а на его место присели две суетливые девочки, которые не переставали оживлённо болтать, не забывая разглядывать себя в зеркало.

Мы тоже решили последовать примеру писателя. Быструю речь девочек, пересыпаемую смешками, понять было невозможно, зато можно было заметить, что их зеркала ничего не отражали: ни тугие косички с бантиками, ни весёлые детские лица, постоянно туда заглядывающие.

До гостевого дома мы шли молча. Не знаю, о чём думал назначенный мне в сопровождающие местный Вергилий, я же думал о феноменах свободы и счастья, о невозможности их проявлений там, где всё предсказуемо и просчитано, где нет роковых случайностей и не существует пут несвободы.

Расставшись со своим спутником, я открыл дверь своей комнаты и отчего-то не узнал её прежнего интерьерера. Передо мной открылось купе поезда, где на нижних полках сидели мама и её дочка, а на верхней возился с каким-то прибором бородатый геолог. Это был тот самый геолог, которого я хорошо запомнил, когда заглянул в соседнее купе, где должен был находиться и я, согласно мнению странного предсказателя с нечеловеческой внешностью.

– Вот ваше место, – сказала мне женщина, указав на свободную верхнюю полку.

«Вот как случается раскрыться свёрнутому свободному измерению», – мелькнула у меня в сознании не вполне оформившаяся мысль, даже не успев задеть фундаментальных понятий о свободе и воле.

– Вы правы, это действительно моё настоящее место, – согласился я со своей назначенной попутчицей, обнаружив, что мой чемодан стоит прямо у входа, являя собой дополнительную степень несвободы. Хотя, если разобраться, здесь и без таковой этих степеней набиралось вполне достаточно для ощущения тесноты, что, однако, не мешало мне получать удовольствие от отсутствия связи с землёй и её физическим измерением.

Эпизод

Страшно подумать: мы все состоим из частиц, возникших в начале Творения, и бывших прежде в составах протопланетарных туманностей и погибших звёзд. Осознав такое, слова «рачительность» и «бережливость» должны были бы быть у нас в приоритете, и, казалось бы, ничто не должно отвлекать нас от защиты и сбережения нашей дарованной Провидением драгоценной сущности.

Но нет! Какие только уничижительные эпитеты не сопровождают нашу физическую оболочку. И это при том, что все известные объекты, существующие в природе, не идут ни в какое сравнение с нами, ни по сложности своей организации, ни по способности выстраиваться в ещё более сложные и замысловатые структуры.

Здесь сам собой возникает законный и логичный вопрос: «А зачем же мы устроены так сложно? Ведь далеко не все используют свой природный дар, предписанный каждому с его естественным правом жить». И кто же из нас не знает, насколько тернист и извилист путь упряма, решившего сосредоточиться на своём предназначении, тогда как по правде вещей резонно предположить иное – общественное одобрение и всяческое содействие любому провозвестнику «разумного, доброго, вечного». Только судьбы всех этих некрасовских «сеятелей» везде и всегда складываются чрезвычайно трудно.

Однако быть может, фрактальный узор бытия настолько точно выверен и так умело рассчитан Провидением, что вовсе не предполагает нашего непосредственного участия в его бесконечном ветвлении? Ведь известно, что авторское право – приватно и неделимо, и любой творец вправе распоряжаться такой собственностью по своему усмотрению. Невозможно ошибиться в том, что на Творца Мироздания авторское право распространяется в первую очередь. И уж тем более Он не нуждается ни в чьих советах и сторонней помощи. Но всё равно непонятно, зачем же Он устроил нас настолько сложно, что нам кажется возможным переустроить всё Мироздание по собственному произволу?

Когда я об этом спрашивал специалистов-гуманитариев, те лишь недоумённо пожимали плечами, медики твердили что-то про иммунитет и микробиоту, физиологи – про реактивную ритмику и автоматизм в биологических процессах. А один очень умный человек посоветовал мне начисто забыть об этом и поступать подобно предусмотрительному рантье: надёжно заложить свой разум в беспроигрышное предприятие и в дальнейшем не тревожить этот бесценный актив, существуя исключительно на его проценты.

Воспользоваться мудрым советом натертого прагматика мне по разным причинам так и не удалось, и я частенько размышляю о тех проблемах, которые никак не помогают мне в повседневной жизни. Однажды, когда мне случилось пребывать в раздумьях по поводу одного важного вопроса, будоражащего воображение средневековых схоластов, я услышал где-то совсем рядом сердитую перебранку. Вокруг никого не было, и определить источник негодующих голосов не представлялось возможным. Спорщики о чём-то недовольно бурчали, не обращая никакого внимания на моё присутствие. «Уж не слышу ли я голоса тех ангелов, что собрались в несметном количестве на острие иглы, о чём некогда вели свои диспуты средневековые схоласты?» – предположил я и стал прислушиваться к их разговору.

– Это просто возмутительно! Нельзя же оставлять полог открытым. Они и так уже засомневались в реальности материи, предлагая разные теории, одна сумасброднее другой!

– Но наш-то – тихий, от него точно не будет никакого шума.

– Вот и неправда! Он только и ждёт, чтобы нас раскрыть, стараясь подловить нас на какой-нибудь небрежности. А тут мы сделали ему такой подарок!

– Не нужно никого винить. Ширме уже миллиарды лет, и за всё это время – ни единой починки. Там уже такие прорехи, что можно даже не трудиться открывать и закрывать полог, а просто просачиваться через имеющиеся в нём щели.

– Нет! Надо признаться, что мы давно потеряли всякую осторожность. Я всё понимаю – работа, и ходить туда-сюда критически необходимо. Но обязательно надо учитывать и личностный фактор нашего подопечного. Вот вы говорите – он тихий. Правильно. Он, действительно, не шумит и сейчас внимательно вслушивается в наш разговор, стараясь не пропустить ни слова.

– Вот и попросим его не трепаться и держать язык за зубами!

– Эй, там, развесивший уши! Уяснил, что нам от тебя надо?

От волнения у меня в горле образовался удушливый ком, что я не смог дать даже односложного ответа. К тому же было совершенно неясно, перед кем мне нужно отчитываться и зачем. Ведь и без моих клятв и заверений, я никому не смогу ничего объяснить, ну, разве что психологу, либо иному специалисту схожего профиля, но занимающемуся уже клинической диагностикой.

– Э, браток! Ты, видно, совсем потерял дар речи! Вот твои пращурь, средневековые схоласты, обрадовались бы возможности поговорить с нами. Ребята они были очень разговорчивые, особенно те, кто разделял положения «двойственной истины».

– Знать бы кто вы, тогда и я, может быть, был бы не против поговорить с вами... – дар речи ко мне постепенно возвращался, но посылать ответ никому и в никуда оказалось совсем непростым делом.

– На вопрос: «Кто ты» – ответить неспособен никто. Как написано в одной известной книге: «По делам их узнаете их». А дела наши всецело посвящены тебе. Мы помогаем твоему разуму и ощущениям воспринимать Мироздание, которое выстраивается в твоём воображении, как реальность.

– И вы хотите сказать, что это я выстраиваю вокруг себя эти бесчисленные несхожие между собой миры?

– Ну а кто же? Человеческому разуму это вполне по силам! Тем более что все возникающие фантомы воображения совсем необязательно осязать и пристально рассматривать.

– Но позвольте! Не всё же приходится мне придумывать. Есть же книги, исследования, свидетельства других людей, наконец!

– Разве ты ничего не слышал про «эффект наблюдателя»? Два астронома смотрят на один и тот же участок неба: первый видит звезду, а второй – нет. А спроси у зрителя любой картины о его впечатлении, и ты удивишься, скольких предметов он там не заметил и сколько нашёл такого, о чём ты никогда бы даже не догадался.

– Получается, что объективной реальности, объединяющей всех, попросту не существует?

– Нам не веришь, можешь и сам в том убедиться. Зайди к своей соседке за солью и спроси её про бином Ньютона. Она тебе просто и очень доходчиво объяснит, что никакого «бина», вина, то бишь, она не пьёт, тем более, иностранного. Или посади твоих любимых схоластов считать количество ангелов на острие иглы, и они насчитают их не одну сотню, тогда как поколебать твою уверенность, что там никого нет, кроме микробов, решительно невозможно.

– Вы меня обманываете. Стул, стол, комната, наконец, это что – тоже плод моего воображения?

– Косвенно – да. Твоё воображение приняло всё это как данность, не требуя согласований от остальных, которые видят всё это по-другому. Объекты, тобой перечисленные, исключительно непросто устроенная голограмма, порождённая энергией Сотворения. Можно сказать, что единственной реальностью является твоё сознание, и именно поэтому оно устроено столь сложно.

– По такой логике невозможно никакое поточное производство, с единым регламентом и строгим соблюдением всех технологических норм.

– Не надо думать, что обособление одной разумной сущности столь фундаментально, что не позволяет ему обмениваться представлениями с другой разумной сущностью. Очень многое носит универсальный характер, и воспринимается почти одинаково. Особенно в этом отношении важен фактор времени и места. У современников много пересечений во взглядах и в понимании того, что их окружает.

– Ладно. Я не столь речист, как схоласт, признающий двойственность истины, но объясните мне, зачем была сотворена столь необыкновенно сложная сущность, чтобы она создавала вокруг себя такую бесхитростную и простую реальность?

– Не всегда, не всегда простую. Порой нам приходится серьёзно потрудиться, чтобы представить всё так, как захотел наш подопечный. Особенно, когда у остальных нет соответствующих представлений. Да, разум обладает необходимой гибкостью, но ведь и в косности ему не откажешь. К тому же нарушенная симметрия породила немалое количество переменных, из которых время оказалось самой независимой и непредсказуемой переменной. Теперь неизвестно, сможет ли обратно всё вернуться в исходное равновесие.

– Что-то подсказывает мне, что все ваши подопечные будут против такого итога. Причём без воздержавшихся.

– Наверняка! – отметил мне уже целый хор голосов.

– Скажите, а вы где? – спросил я, уже совершенно освоившись с тем, что разговариваю с неизъяснимыми сущностями.

– Где бы мы ни были, грань между тобой и нами должна существовать. И тут мы хотели бы попросить тебя об одной, очень небольшой услуге. Наша перегородка давно прохудилась, и мы разговариваем с тобой через прорехи в ней. Постарайся представить перегородку в полной исправности и непроницаемости. Подойди к этой задаче творчески, явив максимум изобретательности и дерзновения.

Не знаю, как бы поступили на моём месте средневековые схоласты, случись им наткнуться на такой бесценный канал коммуникации с неведомым, но я решил непременно помочь разумным сущностям, обустривающим мой привычный мир. Наверное, ещё никогда моя фантазия не устремлялась в такой стремительный полёт, касаясь самых чувствительных тем Мироздания и представлений о сущем. Достиг ли я желаемого, мне неизвестно, но голоса стихли, и в квартире вновь образовалась знакомая уютная тишина. С чувством выполненного долга я собрался и вышел на улицу.

Там ярко светило солнце, и свежий майский ветерок бережно перебирал в своих атмосферных ладонях клейкие листочки на веснеющих старых деревьях. Только мне отчего-то казалось, что в синем глянцевого картоне неба проделано круглое отверстие для солнечного диска из блестящей жести, а старые тополя склеены из хрупкого папье-маше и выкрашены чёрной гуашью...

Три сеанса

Наверное, подлинным может быть только то, в чём ты не в состоянии до конца разобраться.

Вот я до сих пор не могу понять, чем меня так привлекают наши петербургские дворы, дворики и замкнутые пространства внутри кварталов, отгороженные от оживлённых улиц парадными фасадами зданий...

Как только я перебрался в этот необыкновенный город, питерские дворы сразу же захватили моё воображение. Хотя дело, разумеется, не во мне – я всего лишь гость, один из приглашённых на их дивный, безмолвный праздник. Праздник торжественный, но без особого шума и ненужной суеты, без восторженных толп и грома оваций.

Если на оживлённых улицах я был всего лишь прохожим, непричастным к их красоте и величию, то свернув в случайную арку, сразу же попадал в иную реальность, где господствовала строгость и тишина, и где я представал пусть и чужим, но далеко не чуждым.

Да, питерские дворы – это особенный мир, мир чёрных лестниц и разноцветных труб, вентиляционных продухов под высокими крышами и многооких стен, выкрашенных золотистой охрой, потемневшей от времени. Гребёнки первобытных антенн на домах, собравшихся в тесный кружок, причёсывают плывущие над ними облака, а там, где кроны тополей поднимаются под последние этажи, – само огромное небо запутывается в нескладной паутине из проводов, лениво свисающих с покатых жестяных крыш.

Нередко во дворах можно увидеть удобные лавочки и скамейки, но мне почему-то всегда казалось, что они расставлены вовсе не для того, чтобы на них отдыхали, а, скорее, для красоты и уюта. Впрочем, всё, что, так или иначе, воцаряется в питерских дворах, – приобретает дополнительные значения и оттого живёт здесь совсем по-другому, являя себя, порой, в совершенно неожиданном качестве. Как, например, небольшие фонтанчики, которые иногда встречались мне в пору моего знакомства с новой для меня городской средой. Невзирая на своё рукотворное начало, они звенели словно природные ручьи, а подчас над ними даже поднималась самая настоящая радуга из парящих капель воды и солнца. А если во дворе имелась разбитая цветочная клумба, то на ней можно было увидеть целый флористический ансамбль из садовых цветов и дикоросов, поражающий взор неожиданными сочетаниями растений и затейливой пестротой своего удивительного содружества. Но более всего меня впечатляли вентиляционные башенки, возвышающиеся над островками сохранившейся со стародавних времён мощёнки или кирпичной кладки. Эти строения решительно преображали двор, делая его особенным и подчиняя себе всё окружающее пространство. Когда же я встречал взгляд их больших глаз, прикрытых тяжёлыми веками стальных заслонок, меня охватывало сильнейшее беспокойство, хотя мне было прекрасно известно, что смотрят они не на меня, а в самую вечность.

В пору моей юности все городские пространства были доступны, равно как невозможно было представить, что кому-то вздумалось закрывать двери парадных и чёрных лестниц. Можно было легко переходить с улицы на улицу по длинным проходным дворам, минуя домовые арки с ажурными чугунными решётками, имеющими лишь единственную и достойную цель – украшать и разнообразить фасады. Этот свободный от замков и вездесущих автомобилей город засыпал со светом уличных фонарей и просыпался по заводскому гудку, разделяя с горожанами какой-то свой, выверенный распорядок, понятный и присущий каждому, здесь живущему. Город по преимуществу населяли вежливые и интеллигентные люди, и слово «ленинградец» означало гораздо большее, нежели просто житель.

Теперь этот город исчез, точно сбылось пророчество царственной монахини Евдокии и исполнились вещие предречения юродивых, а вместе с исчезнувшим городом разбежались неизвестно куда все мои городские этюды, запечатлевшие тихие праздники городских дворов

и неугомонное ликование улиц. Большинство из них я даже не сумею вспомнить, но вот один такой этюд не только остался в моей памяти, но и сохранил свою историю, к которой я иногда возвращаюсь, чтобы не повторять прошлых ошибок и не тратить время впустую.

В тот памятный двор я зашёл случайно, благодатные утренние часы, когда я обычно выбираю себе городской мотив, с которым далее предполагаю работать, были упущены, и я зашёл туда уже без особой надежды. За скромной прямоугольной аркой открывался длинный коленчатый коридор, ведущий в тесный дворик с вековыми деревьями и высокой белой стеной, отгородившей несколько близлежащих высоченных домов, со слуховыми окнами в проржавелых кровлях. Не знаю, что меня больше всего тогда соблазнило обосноваться здесь: то ли узловатые ветви лип, протянувшиеся к чердачным мансардам, то ли удобная площадка в углу двора, где мне можно было комфортно расположиться, никому не мешая и не привлекая к себе ненужного внимания. Предполагаю, что оба эти обстоятельства естественным образом сложились вместе.

Стараясь не упустить впечатление, я разложил свой этюдник и начал работу. В то время я писал очень быстро – те измерения живописи, значимость которых я глубоко осознал впоследствии, меня ещё совершенно не беспокоили, не останавливали руку и не заставляли думать...

Часа через два работа уже дышала этюдной свежестью и очарованием тихого городского двора с неизменным питерским брандмауэром и сходящимися к облакам покатыми крышами.

Иммунитет к излишнему вниманию к своей персоне от назойливых ценителей живописи у меня выработался довольно-таки легко – уже после нескольких выходов на городской пленэр. Досужее любопытство случайных зрителей способно было мне помешать только в самом начале работы, когда я распределял на холсте цветовые пятна и находил соотношения живописных планов.

А когда я заканчиваю работу, никакое докучливое поведение нечаянных «ценителей» уже никак не может мне помешать.

Я уже почти завершал работу в приглянувшемся мне дворе, как вдруг почувствовал, что ко мне незаметно подошёл кто-то и придирчиво её изучает. Именно почувствовал, а не заметил. Когда у меня появилась способность ощущать поблизости стороннее присутствие – даже не могу вспомнить, наверное, эта особенность была у меня всегда, но обнаружил я её только тогда, когда начал выходить на городской пленэр. На тот момент у меня уже был небольшой пленэрный опыт, и я знал, что захваченные процессом создания холста зрители редко оказываются молчаливыми созерцателями, чаще всего они начинают беседу, и к такому обстоятельству следует привыкать как к неизбежному следствию пленэрной практики. Вот и на этот раз сбой в выверенном регламенте уличной коммуникации тоже не произошло.

– Вот если бы ты смог посмотреть на наш дворик с птичьего горизонта, ты бы не только открыл в работе дополнительный план, но и прочувствовал бы тот высокий горизонт, который должен иметь место в любой работе художника, откуда бы он ни писал.

Я обернулся и увидел перед собой опрятную старушку, внимательно рассматривающую мой почти завершённый холст. Это внезапное вторжение нельзя было назвать бесцеремонным: в нотках её голоса не было ни примитивной дидактики, ни снисходительного превосходства. Да и стоял перед ней не сложившийся мастер, а всего лишь непосвящённый в таинства ремесла юноша, ещё даже не вставший на путь профессионального обучения.

– Ну не могу же я взобраться на крышу, хотя, наверняка мне удалось бы заметить оттуда что-нибудь интересное.

– Зачем же на крышу. Видишь, вон то окно на шестом этаже, прямо под скатом крыши? Это окно моей квартиры и оттуда открывается неплохой вид на город. Если хочешь, то можем подняться, и ты сам сможешь в том убедиться.

Предложение мне понравилось. К тому же я люблю посещать старые ленинградские квартиры с их удивительным внутренним убранством, старыми вещами и любопытными деталями

интерьера, оставшимися там от прежнего быта – лепными каминами, изразцовыми печами и уцелевшими витражами...

Квартира оказалась непривычно просторной: с огромными окнами в старинных деревянных переплётах и такими высокими потолками, что висящая в комнате трёхрожковая люстра едва ли была способна в вечернее время хорошо освещать всё окружающее пространство. Зимой здесь наверняка царили вечные сумерки, но в то время была середина лета, и комнаты наполнял вездесущий свет, щедро осыпаящий город лучистым солнцем, от которого по углам разбегались чёткие контрастные тени. Неизменные спутники света, они прятались от солнца за стенами в зелёных выцветших обоях и старой ореховой мебели, и только в неомрачённые белые ночи этим теням позволялось немного передохнуть, ослабив свои остро очерченные края.

Вид из окна, действительно, открывался очень интересный. Дома старательно выстраивали правильные линии улиц, стройность которых разбивали многочисленные нескладные многоугольники дворовых территорий. Дворы, не соглашаясь со своей вторичной и разрушительной ролью, старались освоить свободное, вертикальное измерение, соревнуясь высотой труб городских котельных с доминантными башенками квартальных построек, которые, обнаруживаясь через равные интервалы, стойко держались за плоскостную геометрию городской среды, сохраняя в планировке соразмерные площади и прямые углы. Городской мотив представлял передо мной яркой многоцветной картинкой, с ползучими голубыми дымками из чёрных труб и оживлёнными дорогами и мостовыми. В этой грандиозной картине всё ежесекундно менялось и по причине перемещения солнца, и благодаря внутреннему движению, характерному для ясного и погожего дня.

Не знаю, случалась ли у меня ещё когда-либо такая же весёлая и беззаботная работа.

– Пестрота и бурление не имеют памяти, – сказала мне хозяйка, когда я уже собирался уходить и старательно заметал все следы своего творческого присутствия. – Ты изобразил погружённый в суету город, где нет ни времени, ни личности, ни должного смысла. Зритель не может и не должен задавать вопрос художнику: «Почему?» – но обязан спрашивать его: «Что и зачем?»

– Позвольте, вы говорите о личности, но каким образом среди изображённого стаффажа можно кого-нибудь отметить особо?

– Любое творение только тогда становится произведением искусства, когда там появляется личность его творца. Художник обязан оставлять себя в работе, и это и есть его самое важное послание зрителю. А в твоей работе не чувствуется даже отношения к изображаемому мотиву.

– Я подумаю над тем, что вы сказали, и хотел бы попросить прийти мне сюда ещё раз.

* * *

Когда я очистил работу от корпусной прописки, она показалась мне даже эффектной. Света вытянулись вслед за беспощадным мастихином, тени ослабли, а весь кричащий оркестр красок обратился причудливой мозаикой, где составляющие её яркие пятна склеивались цветовыми производными всех мыслимых и немыслимых порядков. Однако, несмотря на такое разрушительное вмешательство, изобразительная основа городского мотива всё-таки сохранилась, и это был бы прекрасный образчик формотворчества, если бы подобное действие имело характер творческого приёма. Но моя недавняя знакомая, открывшая мне этот занимательный высотный вид, опять бы укоризненно покачала головой. Никаким образом невозможно было обойти то обстоятельство, что «хористы и музыканты», расположившиеся там внизу, играли и пели сами по себе, совсем не обращая внимания на повелительные движения моей дирижёрской палочки. А я, забыв про партитуру, ловил их разрозненные звучания, стараясь собрать

всё в единую тему, словно не помнил про свою обязанность управлять ими. Хотя может быть я просто принимал за музыку пробу голосов и настройку инструментов, чем бывает так богат погожий день лета с его беззаботной полифонией всего и вся под ласковым и приветным солнцем.

Нельзя сказать, что я никогда не испытывал легкомысленного ощущения очарования беспечной городской сутолоки, когда свободный от любых забот бесцельно вовлекался в общее движение, радуясь солнцу, погожему дню лета и осенившему меня душевному покою. Возможно, и такое чувство достойно того, чтобы заискриться красками на холсте, но завернул-то я в тот двор в поиске совершенно другого! Правда, в очищенной от красочных наслоений работе звучала уже не одинокая песнь питерского двора, а слышалась настоящая оратория летнего полдня, исполненная хором разноголосых участников, состоящего как из степенных старожилов центра, так и дерзких новичков с городских окраин. С мыслью вновь забраться на высокий подиум перед пюпитром с городской партитурой и снова собрать всех в единый согласный хор, я направился на знакомый шестой этаж дома в приглянувшемся мне дворе.

* * *

Подо мной вновь искрился и переливался разными красками шумящий и беспокойный город. Он ловил пробегающие мгновения и переплавлял их в света, тени, звуки и наполненные величием паузы тишины. В раскинувшейся внизу картине, кажется, смешалось всё: и спешащие по своим делам люди, и тени великих, некогда шествовавших по этим мостовым, и скромные строения, сосуществующие с великолепными дворцами, и редкой красоты особняки, вклинившиеся в привычную тесноту рядовой застройки. И отовсюду к небу тянулись липы и тополя, повсеместно выравнивая тёмной зеленью своих крон мерцающую пестроту городского пейзажа.

«Зачем я в Петербурге? по какому случаю? – вспомнились мне строки из “Дневника провинциала” Евгения Поселянина. – Мы, провинциалы, устремляемся в Петербург как-то инстинктивно. Сидим-сидим – и вдруг тронемся... Как будто Петербург сам собою, одним своим именем, своими улицами, туманом и слякотью должен что-то разрешить, на что-то пролить свет. Что разрешить? на что пролить свет? этого ни один провинциал никогда не пробует себе уяснить, а просто-напросто, с бессознательной уверенностью твердит себе: вот уж, съезжу в Петербург, и тогда... Что тогда?»

Верно, и «что тогда?» Этот вопрос благочестивого писателя Поселянина я всегда ставил перед собой, когда отвлекаясь от повседневных забот, прикасался к тому, что было исполнено особого духовного смысла, будь то книги, разбирающие фундаментальные проблемы человеческого бытия или те же картины, существование которых не только оправдано, но даже необходимо.

Этот вопрос редко когда звучал прямо, обычно он растекался и множился, облекаясь в совершенно отвлечённые формы, но в нём никогда не исчезало неизменяемое наречие «зачем». И сейчас я обязан был оправдаться за потраченное своё и чужое время, за неразрушаемые краски, способные переживать вечность, за чистый и белоснежный холст, который в талантливых и умелых руках может превратиться в шедевр и, наконец, за этот неповторимый день лета. Мне представлялось, что моего ответа ждут все эти низлежащие дворы с липами и тополями, оживлённые улицы со спешащими людьми, трубы и башенки, задевающие своими макушками плывущие облака.

Рука больше не слушала ликующих красок невского полдня, наверное, ей припомнились дружные хороводы берёз вокруг панельных многоэтажек, медленная зелёная река моей тихой далёкой родины и безлесные холмы, увитые плотным изумрудным ковром брусники и костяники.

Вскоре яркие пятна на моём холсте обзавелись зелёными кружевами листвы, а зелёному я, вслед за Ольгой Берггольц, неосознанно приписывал «знак свободного пути», почитая его так же, как и во всей европейской геральдике, символом надежды и неистребимой веры в торжество разумного, доброго, вечного. Партию первой скрипки в живописном звучании я отписал Природе, отдавая дань её могуществу и преобразующей силе, в то время как человеческому присутствию и делу его рук отвёл роль остальных струнных, духовых и ударных. Они, сокрытые зелёным флёром листвы, с верой и упованием устремляли свои взоры в голубое небо, хранящее все тайны Вселенной и определяющее их судьбы.

Господствующий зелёный стушевал надменное городское величие, передружил все дворы, обособил улицы и поглотил окраины. Хозяйка квартиры только покачала головой – утверждать, что в работе не чувствовалось авторского присутствия у неё больше не было аргументов. Однако она не увидела на холсте тот город, на который она любила смотреть из своего окна и который желала увидеть запечатлённым в красках. Я был разочарован тоже, и не столько работой, сколько сдержанностью и безразличием своего единственного зрителя и в какой-то мере – заказчика.

Спустившись во двор и подойдя к первоначальной точке, откуда я начинал работу, я был удивлён, что после двух сеансов с птичьего горизонта, я уже по-другому воспринял некогда увлекший меня городской мотив. В оркестр красок, поразивший меня своим мажорным звучанием во время первого сеанса, когда я стоял на высоком подиуме дирижёра, вторгалась чудная зелёная волна с дивными природными нотами от вековых лип и группы тополей, прижавшихся к стене, от которой падала глухая чернильная тень. Я понял, что моему холсту вновь предстоит зачистка мастихином и после просушки мне снова будет нужно вернуться сюда, чтобы исполнить то, зачем я так долго искал этот тихий двор, сокрытый в городском лабиринте оживлённых улиц.

* * *

Я не вполне понимаю, что означает выражение «пребывать в прелести», но именно такими словами смог бы описать свои ощущения от работы на пленэре. Радость переполняет меня, когда я наблюдаю, как под моим пристальным взглядом всё вокруг оживает и вступает со мной в долгий и увлекательный диалог. Здесь не бывает ничего незначимого, неинтересного, мелкого – любая деталь может привлечь внимание и стать тем центром, вокруг которого будет собираться всё остальное. И в этом мне старается помочь и сам город, выстраивая в перспективах улиц свои замысловатые композиции, подсвечивая здания и деревья, пестря стаффажем на набережных и площадях, списывая планы и обставляя пространство заборами и решётками так, чтобы я вдруг не стал где попало.

Случилось так, что мир разделился для меня на две неравновесных части. В одной из них всё предостерегало меня от того, чтобы я не впадал в прелесть и держался подальше от холстов и красок, зато в другой я забывал все данные мне наказания и увещевания, а вместе с ними и всё на свете: близких и дальних, друзей и знакомых. Пребывать в прелести было радостно и легко: там вечерами по земле скользили длинные цветные тени, утром рассветное солнце заливало ликующим светом разбуженные дома, а тополя и липы дарили мне задушевный зелёный шум и завязывали в ветвистых кронах заметы и образы узелками на память...

Люди обычно обижались на меня, считая меня гордым и равнодушным, а я жалел их оттого, что они не могли или не хотели понять, что источник душевной радости необязательно должен находиться там, где обычно принято его искать. Ни с чем не сравнимое чувство посещало меня тогда, когда я, посредством кистей и красок, беседовал с городом, говорил с ним о призвании, о смыслах, о сокровенном и о непостижимых таинствах бытия.

Значительно позже я осознал, что художники разделяются по живописным жанрам не по таланту, а согласно своим психотипическим особенностям. К портрету, если того не требует нужда или сложившиеся обстоятельства, приходят неудержимые экстраверты, а пейзаж выбирают упрямые нелюдимы, находящие душевную радость в живой и неживой природе.

Вернувшись на первоначально выбранную площадку в глубине двора, я приступил к третьему сеансу работы над холстом, который после неоднократного соскабливания краски уже напоминал законченное абстрактное полотно с мажорным звучанием светло-зелёного.

Мне вообще нравится зелёный, он, пожалуй, мой самый любимый: и яркий, как семафорные огоньки, и тёмный, как живое пламя крон кипариса. Поэтому писать по имприматуре зелёного цвета было особенно приятно и интересно.

И твердят во всей природе
зелёные огоньки:
проходите, путь свободен
от любви и от тоски...

Куда же пойти от любви и тоски мне на третий раз? Зелёный холст убеждал меня, что путь открыт ко всем спрятанным в глубине двора тайнам, и я свободен от всего, что тормозит и сдерживает, тяготит и мешает. А раз так, то на мир можно смотреть легко и свободно, словно всё окружение ещё не получило имён, а явления и предметы – беспамятны и чисты как в первый день своего творения. И весь мир ещё не отмечен печатью зла, и своенравное время только что начало свой неумолимый ход. Ни свет, ни тень ещё не понимают своих предназначений, поскольку нарождённая явь только что начала отсчитывать первые мгновения бытия, и она ещё не знает, какой ей предназначено быть. И только лишь одному мне известно, как здесь я оказался и зачем передо мной этот холст, выкрашенный в самый обнадеживающий зелёный цвет. Через несколько минут всё возникшее из небытия начнёт осознавать свои достоинства и недостатки, но я не позволю такому случиться, придав всему, что я вижу, собственные значения и совершенные смыслы.

Я красотой наделю пристрастно
Всякие несовершенства эти...

Художник призван исправлять ошибки Творения и прославлять совершенный, праздничный мир, не оглядываясь на то, что про его работу скажут другие. Два моих предыдущих сеанса были неудачными именно по этой причине. Я обязан был слушать исключительно подсказки природы, вобравшей в себя, наряду с городскими липами и тополями, весь этот торжественный город – с улицами и площадями, набережными, фонтанами, дворами и мостами...

Закончив работу, я ещё раз взглянул на знакомое окно на шестом этаже. Стёкла окна горели праздничным огнём яркого летнего солнца, посылая ответные лучи в тенистую чашу двора, ровно так, как были изображены на моей работе окна соседнего дома. И там и здесь всё было пронизано ликованием дня и лучезарного света, с той лишь разницей, что на моей работе залитые солнцем окна никогда не погаснут...

Равнина Жары

*Ничего не желай во сне видеть, а то с рожками увидишь.
Преподобный Амвросий Оптинский*

Помянул я как-то к ночи Всеволожского Никиту, вот он-то мне и приснился. А вместе с ним приснился ещё какой-то Коромыслов. Стоим мы так все втроём в поле и палим по облакам из мелкашки. «Скучно, сударь», – говорит Всеволожский, Коромыслов кивает и «ба-бах, ба-бах» в воздух.

«Привидится ж такое», – подумал я, попутно наградив себя нелестным эпитетом за убожество образа сновидения. Ведь что бы там не писал Зигмунд Фрейд про природу снов, они – есть самые прямые проекции нашего мышления. Всё, что застряло в памяти, выстроилось в воображении, переосмыслилось разумом – всё идёт на переплавку в сон. И никакого тебе таинства подсознания: что было дано, то и следует впоследствии получить.

Вот сижу и думаю: а так ли приятен мне тот самый Никита, чтобы я тянулся к нему своею пытливой мыслью, не только бодрствуя, но и находясь в состоянии безотчётного сна? Да нет, конечно! А Пушкин, вот, тянулся, даже роман хотел написать о таких же бездельниках праздных. И Никите там, как главному герою, предполагалось шуметь, показушничать и веселиться. Но видно, что-то Пушкина держало всё-таки. Или, быть может, понял Александр Сергеевич, что в отличие от «Евгения Онегина», не войдёт такой роман в школьную программу «племени Младого, незнакомого». А, следовательно, за такой труд и браться не стоит.

Да и я ведь тоже хорош – сколько раз после экскурсии по Коломне, спешил на набережную Екатерининского, чтобы остановить внимание экскурсантов на доме Паульсена, где прежде проживал приснившийся мне Никита, и где была прописана его знаменитая «Зелёная лампа». Ведь кто ж не помнит про «приют гостеприимный, приют любви и вольных муз». Много, много произносил я высокопарных и неискренних слов во славу хозяина «приюта» и его зелёного абажура. Хотя спроси меня кто-нибудь тогда, а зашёл бы ты к восславляемому Никите Всеволодовичу на его зелёный огонёк, то сразу бы и узнал всю цену только что сказанного. Нет, общество «счастливого сына пиров» меня категорически не устраивало, и ни Пушкину, ни Дельвигу, и даже наи-симпатичнейшему Фёдору Глинке, было б никак не уговорить меня забежать к ним на кружечку пунша. «Скучно, господа, радуйтейся и веселитесь, яко мзда ваша многа на Небесех», – крикнул бы я с набережной Никите и пошёл бы по-настоящему веселиться в свою мастерскую, к чистым холстам и ароматным краскам, пахнущим цветущей сиренью и морозным снегом.

«Скучаю, скучно мне!» – приговаривал некогда и отец Никиты, когда расхаживал между приглашёнными на его званый обед. А обеды в его тропических оранжереях никогда не прекращались и отличались непомерным роскошеством. И никому ведь не приходило в голову манкировать эти помпезные мероприятия, напротив, почиталось за честь быть в числе приглашённых. И верно: чего только не предпримешь ради борьбы со скукой. Один только Иван Андреевич Крылов шествовал на перфомансы Всеволожского не спасаясь от скуки, а с вполне здоровой и понятной целью – съесть как можно больше с барского стола и сдобрить съеденное обильным десертом. Баснописец любил повеселиться, в смысле качественно подкрепиться, знал в этом толк и славился своим обжорством, оттого и не томился скукою бытия.

А вот коллега Всеволожского по мотовству и показушным предприятиям купец Ганин Егор Фёдорович томился. Ганин разбил на своём участке земли диковинный сад со всякими чудачествами, сделав его общедоступным. А когда и сад ему наскучил, занялся сочинительством, потом режиссурой и даже актёрством. «Скучно, любезный друг!» – говорил он своему

приятелю Измайлову, который не давал Ганину закиснуть от скуки и придумывал для него всё новые и новые амплуа.

Да кого только тут не вспомнишь! Разве мало ли их, объятых суконною скукой! Как сейчас вижу перед собой заседание общественной организации скучнистов, пропевающих от тоски телефонную книгу с указанными там фамилиями и номерами телефонов.

А скучно им всем оттого, что не знали они ничего о Равнине Жары на знойном Меркурии.

Место там и впрямь примечательное, правда, зелени маловато и друзьям из «Зелёной лампы» вряд ли бы пришлось по вкусу. Но точно бы никому не случилось там заскучать.

Хочешь – любуйся палящим солнцем, нависающим над тобой в полнеба, хочешь – иди до горного кольца по застывшей лаве. И никогда тебе больше не придёт в голову палить из мелкашки в небо или утверждаться в глазах местной знати через устройство праздных гуляний. Да и знати тут на Меркурии никакой нет! А кому случится появиться здесь, тот уже не будет чиниться, поскольку на Равнине все равны, – и Ганин, и Всеволжский, и Коромыслов.

Решил, всё, – перед сном не буду думать ни о каком Никите, только о Равнине Жары. Правда, святые отцы думать перед сном не рекомендуют, но мышление человека так устроено, что ни о чём не думать способна только совершенно пустая голова. А если голова не совсем пустая, то придётся полищезреть – этого самого... с рожками... И да простит меня преподобный Амвросий!

Сон Тимирязева

Было ясное мартовское утро, и Аркадий Климентьевич прекрасно выспался. Однако новый день встретил его не бодрым и обещающим началом, а куцыми обрывками нелепого сна, которые как собаки злобно цеплялись за его память, и отбиться от них было решительно невозможно.

Ночные видения угнетали сознание, и было даже неловко вспоминать, как совсем недавно, получив свежий номер журнала «Под знаменем марксизма», он торжественным голосом зачитывал близким цитату из ленинской статьи, где он, Тимирязев, был упомянут не как сын знаменитого физиолога, а как выдающийся мыслитель, достойный целого абзаца от самого вождя. Да что там зачитывал! Он впитал в себя этот абзац, поднял его над собой как знамя, сделав его своим оберегом и магическим заклятьем. Вот и сейчас его губы чуть слышно повторяли ленинские слова:

«Помещённая в 1–2 номере журнала «Под знаменем марксизма» статья А. Тимирязева о теории относительности Эйнштейна позволяет надеяться, что журналу удастся осуществить союз с представителями современного естествознания. Надо обратить на него побольше внимания. Надо помнить, что именно из крутой ломки, которую переживает современное естествознание, родятся сплошь да рядом реакционные философские школы и школки, направления и направленьица. Поэтому следить за вопросами, которые выдвигает новейшая революция в области естествознания, и привлекать к этой работе в философском журнале естествоиспытателей – это задача, без решения которой воинствующий материализм не может быть ни в коем случае ни воинствующим, ни материализмом».

Ленинские слова падали в равновесный самодвижущийся вселенский эфир, не дававший покоя проснувшемуся профессору, и каким-то образом застывали на огромной грифельной доске, возле которой стоял за университетской кафедрой ненавистный ему Альберт Эйнштейн. Обрывки образов из недавнего сновидения как лёгкие магнитики собирались вокруг создателя теории относительности по принципу полукольца, воссоздавая тем самым полную ночную картину, доставившую Аркадию Климентьевичу столько беспокойств. А обиднее всего, что на скамьях выстроившейся аудитории сидели не злобные «качественники-виталисты» научного мира, против которых вёл беспощадную войну московский профессор, а бродячие собаки, стайки которых обретались на дальних задворках достославного МГУ. Собаки сидели смиренно и внимательно наблюдали за лектором, собравшимся изложить им положения Общей и Специальной теории относительности. Большею частью тут были беспородные собаки, но встречались и породистые, как, например, пятнистый английский бульдог, который сидел в аудитории на первом ряду и очень старался громко не хрипеть.

– Друзья, – подала голос какая-то лохматая шавка с задних рядов, – лектору привычнее говорить на немецком. Я полагаю, возражений ни у кого не будет?

– Ну да, конечно, пусть говорит на немецком!

– Как ему удобнее, на немецком, так на немецком! – залаяли со всех сторон.

Это невинное заявление маленькой собачки было сделано весьма кстати, ибо смогло снять напряжение, вызванное явлением столь именитого лектора. На какое-то время в аудитории поднялся шум и гвалт. Гул голосов одновременно заполнил большую залу, ибо каждый хотел высказаться и поделиться своими ощущениями. Собаки обменивались репликами, в результате чего выяснилось, что лекция сумела собрать не только выкормышей Физического института МГУ, но и всех приبلудных псов с Моховой, среди которых находились даже те, которым ещё посчастливилось слушать лекции самого профессора Столетова.

– Прошу минуточку внимания, – обратился Эйнштейн к расшумевшейся аудитории. – Меня интересует, было ли сделано предупреждение о моей лекции, поскольку я не вижу среди

слушателей председателя Физической Предметной Комиссии профессора Тимирязева. Хотелось бы специально для него остановиться на моментах, которые он отчего-то не понял или просто не захотел понять, дабы раз и навсегда прекратить с его стороны бездоказательные инсинуации по отношению к моей теории относительности.

– Да знает он, – пролаял рыжий пёс, знакомый всякому, кому случалось отдыхать в сквере напротив здания института. – Не пришёл, потому что готовит нам всем засаду. Он уже давно воспринимает нас как проводников идеалистических, антинаучных и махистских воззрений.

– Да он ещё и студентов своих привлечёт к отлову, – завыло сразу несколько собак. – Известно ведь, что только за счёт голосов своих неотёсанных студентов он и занимает столь ответственные посты! Скоро нам всем хана!

– Не стоит волноваться, друзья, – обнадежил Эйнштейн обеспокоенных собак. – Поскольку он сомневается в абсолютности скорости света, то наверняка он абсолютно сомневается и во всех прочих делах. Может быть, он просто спит, даже не подозревая, что мы здесь собрались для научного диспута и познавательной беседы.

– Нет! В следующий раз я, скорее всего, больше не смогу удержаться и обязательно его укушу! – заявила большая чёрная собака, которой не хватило полноценного места, и она была вынуждена сиротливо сидеть в проходе.

Терпеть такое у Аркадия Климентьевича больше не было сил. Он, на сколько у него хватало голоса, заорал в открытое окно аудитории, из которого всё это время наблюдал за происходящим.

– Специальная теория относительности и Общая теория относительности Эйнштейна не имеют никаких логических основ и являются абстракцией, не имеющей к реальной действительности никакого отношения!

Все собаки повернули головы в его сторону и одна за другой ринулись за ним через окно.

Аркадий Климентьевич бежал быстро, но собаки всё равно отчаянно рвали его за штанину.

Пустая квартира

*Музыка, заставившая меня очнуться, всё продолжала звучать.
Тогда меня осенило, что, может быть, я нахожусь около замка Обербуа,
и что гости собрались там на тот самый костюмированный бал...
А.К. Толстой «Встреча через триста лет»*

Мне, которому в юности пришлось некоторое время пожить в густонаселённом бараке, словосочетание «пустая квартира» всегда представлялось каким-то неуместным оксюмороном. Целая квартира – и вдруг пустая! Такого не бывает, вернее, такого просто никогда не должно быть.

С этими мыслями я обычно подходил к дверям своей прежней квартиры, преследуемый растревоженной акустикой старого дома, в котором высоченные потолки и длинные лестничные марши готовы были отражать многократным эхом не только шаги вошедшего, но и любой иной произвольный звук, вроде позвякивания ключей или протяжного скрипа входных дверей. Эти звуки, усиливаемые вечными сквозняками и резонатором пустого пространства общей парадной, стремились вырваться на улицу и во двор, а дальше уже подхватывались ветром, который вплетал их в привычный всякому петербуржцу велеречивый городской шум.

Встретившая меня тишина комнат, напротив, вбирала в себя все производимые шорохи, лязги и голоса, сохраняя непроницаемую невозмутимость оставленного людьми жилища. Здесь находилась моя большая библиотека, ибо в комфортабельном новострое, куда мне пришлось перебраться, для неё просто не находилось места, да и не вписывались объёмные фолианты и ветхие бумажные переплёты в чуждый всему этому немодному излишеству дизайнерский интерьер моей новообретённой «трёшки».

Я взял с нижней полки томик Клюева, и в этот момент мне показалось, что за моей спиной скользнула какая-то быстрая и осторожная тень. Ощущение присутствия здесь кого-то ещё я обычно связывал с вещами, оставленными в квартире бывшими владельцами. Вообще-то мне претит приятие сверхъестественного. Но в народе бытует мнение, что между вещами и их обладателями существует незримая связь, позволяющая предметам личного пользования вбирать в себя эмоции, желания и мысли владельца, подобно тому, как некоторые растения и грибы способны поглощать из земли и аккумулировать в себе тяжёлые металлы. Не берусь отнести эту безрассудную убеждённость к суеверию, но полностью исключить такую возможность, я не могу тоже. Разве что к вере людей в способность душ возвращаться к оставленным богатствам, и влиянию старых вещей на нового владельца, я, безусловно, отношусь скептически. Впрочем, из брошенных здесь вещей мне захотелось присвоить себе совсем немного: только книги и старинный письменный прибор с бронзовой фигуркой дельфийской нимфы, стоящей рядом с чернильницей в виде природного колодезя, который, очевидно, имел значение дарующего вдохновение Кастальского ключа.

Я дотянулся до верхних полок и вынул оттуда марксовский томик Льва Мея, доставшийся мне от прежних владельцев квартиры вместе с кучами мусора и прочим хламом, разбросанным по углам пустующих комнат. Помнится, книги там валялись вперемежку со старыми бумагами, битой посудой и поломанными детскими игрушками. Правда, у меня и без этих невольных подарков была большая библиотека прадеда, которой я исключительно дорожил, и вокруг которой происходила вся моя сознательная духовная жизнь. Я очень любил погружаться в авторский текст какого-нибудь малоизвестного литератора, возвращая его тем самым на свет Божий. А забытый литератор, казалось, только и ждал этого торжественного момента, воссоздаваясь из образной ткани своего повествования. Портретов большинства полузабытых авторов мне отыскать не удавалось, однако в моём воображении они получались во всём своём

внешнем жизнеподобии, не исключая отдельных подробностей костюма и дополняющих его модных деталей. Иногда мне даже чудилось, что могу слышать их голос, и это обычно случалось тогда, когда я, не принимая авторской позиции, возражал писателю, излагая ему своё понимание прочитанного, после чего у нас завязывался принципиальный и горячий спор.

При этом мои отношения с авторами книг складывались точно так же, как устанавливаются контакты с живыми людьми. К кому-то из многочисленного писательского сообщества, населявшего мою библиотеку, я испытывал самую настоящую неприязнь, а к каким-то литераторам, напротив, относился весьма сочувственно, категорически уверяя их в своём полном расположении и единстве взглядов. Однако никому из прописанных в моём книжном собрании литераторов не удавалось избежать пристрастного изучения всего того, что было связано с их жизнью и творчеством. И здесь меня интересовало абсолютно всё – среда, в которой автору приходилось жить и работать, его характер, привычки, увлечения и различные истории, в которых, так или иначе, упоминалось его имя. Можно сказать, что всех своих квартирантов, чьи фамилии значились на корешках книг моей библиотеки, я знал гораздо лучше, чем соседей, которые проживали со мной на одной лестничной клетке.

Хорошо это или плохо, только моя жизнь всегда была наполнена занимательным содержанием и значимым смыслом, и я совершенно не мог понять, что из себя представляет то, на что так часто жаловались окружающие меня люди, досаждаемые скукой, унынием и одиночеством.

Не знаю, что на этот раз помешало мне сосредоточиться на лирических откровениях моего любимого Мея, но вскоре томик с его стихами я поставил обратно на полку. Да и сам Лев Александрович упорно молчал и на все мои вопросы только виновато разводил руками, кивая в сторону книг на иностранных языках, которые у меня стояли отдельно от прочих в специальном книжном шкафу. Безотчётно повинаясь его указаниям, я достал оттуда первую попавшуюся под руку книгу. Это было парижское издание 1912 года с произведением графа Алексея Константиновича Толстого «Встреча через триста лет», содержание которого я хорошо знал и в русском переводе.

Для меня всегда оставалось загадкой, отчего граф так и не удосужился издать это произведение вместе с другими своими готическими вещами, ведь без него оставалась какая-то неуловимая недосказанность, некая незавершённость цикла его фантастических повестей.

В этом произведении романтика-графа я, прежде всего, удивлялся не завидному самообладанию юной герцогини, а обстоятельству, позволившему ей очутиться между мирами, тогда как она исключительно и целиком принадлежала обыденной реальности и не проявляла никакого интереса ни к таинствам непостижного, ни к безднам сверхчувственного. Даже не знаю, как бы я повёл себя на её месте. Но для меня такое многочисленное собрание теней не стало бы неожиданностью, поскольку я почти не ощущаю той грани между мирами, которая выстраивается из здравого смысла и привязанности к вещам обыденным, и которая оказывается непреодолимой для тех, кому претит буйство фантазии и дерзновение духовного поиска.

Между тем, в сочинении графа Толстого отчего-то оказалось множество иллюстраций, хотя я прекрасно помнил, что никаких рисунков прежде там не было. Кроме того, и рыцарь Бертран, и госпожа Жанна де Рошэю, да и остальные гости, одеты были не по моде короля Карла Седьмого, а во вполне себе партикулярные платья нашего недавнего прошлого, к тому же все лица мне показались удивительно знакомыми, очень похожими на лица моих книжных квартирантов.

Вскоре я уловил шум большого собрания, который становился всё громче, словно изображённые на рисунках тени постепенно обретали полновесную плоть и немедленно включались в какую-то занимательную беседу. Прислушавшись, я даже смог различить отдельные фразы, хотя голоса почему-то раздавались не непосредственно в библиотеке, а из смежной комнаты,

прежде предназначавшейся для гостей. Шум в гостиной меня насторожил, и я решил посмотреть, что же там происходит.

Открыв дверь, я увидел, что в комнате было полно народа. Люди тесно стояли в гостиной, освободив место лишь в центре помещения вокруг единственного антикварного стула, который был намеренно забыт здесь ввиду его несовместимости с мебельным гарнитуром новой квартиры. На этом «помпейском» стуле важно восседал дородный господин, а подле него громоздилась внушительная стопка бумаг на журнальном столике, оставленном в гостиной по той же причине, что и «помпейский» стул.

Многих из собравшихся я знал по прижизненным портретам и фотографиям. Был здесь и писатель Отец Забытый, к текстам которого я обычно прибегал вместо успокоительного. Он стоял в самом центре комнаты рядом с сидящим господином и имел вид первосвященника Аарона при правителе Моисее. По нему было заметно, что он приготовил для меня речь и очень торопился её начать, нервно поглаживая бородку и постоянно поправляя очки.

«И здесь, как в рассказе Алексея Толстого, один из главных героев – священник», – подумалось мне, и я невольно начал перебирать в уме возможные варианты развития этой истории, усматривая в ней явную параллель с произведением графа про костюмированный бал призраков. Но разгонять тени крестным знаменем у меня почему-то намерения не было. Да и не возымело бы оно никакого эффекта, поскольку не было у меня той силы, которая была у истово верующей герцогини.

Я повелительно махнул рукой Забытому, чтобы тот начинал. Собравшиеся засуетились, и между мной и центральной парочкой образовался узкий коридор, позволявший нам хорошо видеть друг друга.

– Посмотрите на эти бумаги, – торжественно начал Отец Забытый. – Это бесценное наследие первого хозяина этого дома, которого мы, наконец, имеем счастье видеть и приветствовать.

Пауза, пафосно отмеренная Забытым, наполнилась жидкими аплодисментами. По всему было заметно, что писатели хоть и отдавали должное сидящему дородному господину, но имели удручённый и виноватый вид.

– Белинский тоже ошибался... – слышались голоса. – А Писарев, отстаивающий «интересы уха» и склоняющий всех налево и направо... Ну и мы – туда же...

– Так вот, – продолжил оратор, – как вы верно заметили, глухота и неразборчивость – качества, присущие современникам. – Забытый патетически вздёрнул руку и указал на меня, опять выдержав театральную паузу. – Но потомки, которым было оставлено это сокровище, сгребли все труды нашего замечательного литератора, не удостоившегося при жизни заслуженного признания, по мусорным мешкам вперемешку с битой посудой и... выбросили всё на помойку!

– Да не читал я эти бумаги! Уверю вас, что если бы я нашёл в них что-то талантливое и интересное, то постарался бы исправить ошибку современников.

– Забытый поднял голову и зачем-то указал пальцем на потолок. – Вон они теперь что нам говорят! Они, верно, неграмотные... Да и единой строчки нашего уважаемого хозяина достаточно, чтобы понять глубину и неординарность его текста! А они, потомки, разучились в капле воды видеть величие океана! Хорошо ещё, что оставили в доме письменный прибор с Кастальским ключом графа Сен-Жермена, благодаря которому мы имеем возможность собираться здесь вместе.

– Не буду отрицать своей вины. Надо было, действительно, просмотреть бумаги. Однако сошлюсь на вашего же современника: «Новое поколение может оценить созданное предками лишь тогда, когда разрушит его и с большим трудом начнет восстанавливать».

Писатели загудели. «Да мы, да я...» – слышались голоса.

– Да как воссоздавать будете, господин хороший, утерянное безвозвратно! – Забытый в сердцах ударил себя кулаком в грудь. – А как вы поступаете с теми, кто изо всех сил старался

улучшить человеческую природу? Посвящаете им небольшой абзац в «Антологии»? А кто-то даже бессовестно использует наш вдохновенный труд души, чтобы крепче заснуть и не пить перед сном валерьянку!

Здесь Григорий Иванович Недетовский, он же Отец Забытый, явно намекал на себя, имея в виду наше с ним вынужденное общение. Впрочем, так было не всегда, не на нём одном сошёл клином вечерний дремотный свет. Прежде, чем мне удалось приобрести в антикварной лавке его сочинения, я для этой цели использовал труды его предшественников, столь же вдохновлённых идеей усовершенствования человечества.

– Позвольте полюбопытствовать, – обратился я к Отцу Забытому, дайте мне взглянуть на бумаги.

– Да пожалуйста, – откликнулся Забытый, – но их бы следовало прочесть раньше...

Под невнятный шум собравшихся я подошёл к столику, взял несколько верхних листов исписанной бумаги из внушительной стопки и начал их читать, поймав при этом отстранённый взгляд автора и язвительный – от моего неожиданного обличителя, Отца Забытого.

Сказать по правде, мне редко когда случалось читать подобные тексты. Слов я почти не различал, они сразу же воплощались в чувства, подчас с оттенком радости, иногда – с мечтательным вдохновенным флёром, но неизменно с красотой и величием чего-то по-настоящему подлинного. Авторское письмо поражало богатейшей палитрой возможностей и искусных приёмов. Один, случайно выбранный отрывок, растворялся во мне целительным душевным умиротворением, озаряя всю внутреннюю вселенную каким-то особенным лучезарным сиянием; другой же, напротив, – погружал меня в непроглядную тьму, только не вязкую и колючую темноту неведения, а в глубокое и таинственное пространство непознанного. Иногда и вовсе мне казалось, что надо мной переставали властвовать силы земного притяжения, и я устремлялся куда-то высоко-высоко в небо, в сияющую божественную синеву вечного Света. Я вчитывался в текст, пытаюсь его запомнить, но он рассыпался, как тысячелетний потревоженный прах, оставляя в душе лишь неуловимые прозрачные образы, которые таяли, тревожили и увлекали за какие-то далёкие, дотолё неведомые горизонты...

Я хотел положить прочитанный лист обратно на место, но он воссиял, свернулся и поспешил исчезнуть, подобно тому, как в Откровении от Иоанна сворачивалось и исчезало небо. «И небеса свернутся, как свиток книжный...», «этого быть не может. Рукописи не горят...», «Нам отказано в долгой жизни; оставим труды, которые докажут, что мы жили!», – цитаты завертелись у меня в мозгу, и каждую из них мне захотелось тотчас оспорить, только никто из собравшихся против обыкновения не решился мне возразить.

Отец Забытый скрестил руки на груди и посмотрел на меня так, будто бы я был виноват в том, что этим текстам не случилось увидеть своего читателя. Меня это возмутило. Да, я не стал разбираться и выбросил нечитаными все сочинения талантливого литератора, но стоящие здесь, они что – все ни при чём?

– Хорошо. Допустим, я бы изучил эти бумаги и оставил их у себя, выделив им самое почётное место в своей библиотеке. Или даже издал бы их за свой счёт и раздал своим друзьям и знакомым. Те прочли бы изданную мной книгу и вскоре забыли бы имя её автора, поскольку при жизни писателя оно так и не стало явлением, не приобрело необходимые легендарные и былевые черты. А человеческое сознание устроено так, что способно преклоняться исключительно перед магией мифа. Его имя блеснуло бы летящим метеором, но не смогло бы светить долго. Сказано же одним из вас:

Что пользы в нём? Как некий херувим,
Он несколько занёс нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!

Тем более, нельзя ручаться, что, сохрани я бумаги, новый хозяин квартиры и библиотеки не последовал бы моему примеру. Это вы должны были сделать так, чтобы «в сердцах людей нашлись созвучия ЕГО созданным».

– Не вполне справедливо, – послышался чей-то голос из толпы. – Читателю, подчас, легче разобраться, чем литератору, который обыкновенно слышит только себя. Например, все офицеры полка Лермонтова полагали, что пишут стихи не хуже Михаила Юрьевича. Писателем движет желание внедрить свои правила, установить свои законы, признавая только такую – свою реальность, и отказывая в существовании мирам, устроенным по-другому.

– Гордыня, господа. Что уж там, признаемся честно, – загомонила толпа. – Не дали бы ходу!

– К Николаю Парамонову надо было б рукопись принести, – выкрикнул кто-то с дальних рядов. – Или к Рябушинскому!

Отец Забытый поднял руки, и собрание попритихло.

– «Премерзкий грех есть гордость, но мало от кого познаётся, яко глубоко в сердце сокровен есть», – процитировал Забытый святителя Тихона Задонского. – Гордыня, господа, тяжёлый и опасный недуг...

Отец Забытый, как никто другой, любил поговорить на душеспасительные темы, но развернуться в полную силу ему не дали. Потеснить оратора и сменить предмет обсуждения решился молодой мужчина, гладко выбритый, одетый в тёмно-коричневый фрак с изящно повязанным муслиновым галстуком, напоминающим большой шейный платок. Безусловно, это был кто-то из моих книжных квартирантов. Однако оставалось только гадать – из какой же он прибыл книги. Уместно было предположить, что это мой новый подселенец, таинственный автор «беззаглавной книги» 1838 года, о которой до сих пор не утихают споры. Я недавно приобрёл её на книжном аукционе, на котором она продавалась с пометкой «автор неизвестен». Академик Яков Грот полагал, что эта книга без титула принадлежит перу Ильи Модестовича Бакунина, блестящего офицера и героя всех современных ему войн. Но румяный модник совсем не был похож на боевого офицера николаевской армии, двоюродного дядю известного анархиста. Он, скорее, походил на кого-нибудь из «архивных юношей», поскольку представить его в военном мундире было решительно невозможно. По-видимому, академик Грот попросту ошибался с авторством книги без названия и имени создателя.

– Не буду искать «причин над предисловием трудиться», – начал модный господин строчкой титульного сочинения из «беззаглавной книги», после чего стало окончательно ясно, что перед нами её автор. – Я полагаю-с, что уничтожение рукописей нашего уважаемого юбиляра, для чествования которого мы здесь все собрались, не самый несправедливый поступок, совершённый этим господином, которого мы имеем исключительный случай здесь лицезреть. Впрочем, обвинение в неблагоприятных поступках можно предъявить и всем нам, равно как и упрекать в провоцировании общественных нестроений, вследствие нашего бездумного и самонадеянного писательства. Меня, не имевшего целей самоутверждения в литературном клане и создания собственной отвлечённой реальности, милостиво прошу принять в качестве исключения. Теперь посмотрите на него, – и автор «беззаглавной книги», сделав картинный жест, указал на меня. – Они-с даже не знают своих соседей, в общественной жизни не участвуют-с, и вообще, представляют собой отшельника и отщепенца. Ну а мы-то тут при чём, скажете вы, и ошибётесь-с, ибо именно мы и соблазнили его тем, «чего не бывает», как очень точно заметила присутствующая здесь барышняпоэтесса.

Писатели загалдели. «Изъяснитесь яснее...», «Вы, наверное, сторонник грибоедовского полковника?», «Батенька, а как же Аристотель с его теорией литературы?» – на разные лады выкрикивали возмущённые литераторы.

Отец Забытый, уловив родственные нотки в рассуждениях оратора, потребовал тишины.

– Дамы и господа, – торжественно начал Забытый. – Поднята архиважнейшая тема, значительно расширяющая границы той частной проблемы, которой мы коснулись в начале нашего обсуждения. Здесь речь идёт уже не о каком-то отдельном нелюдипе и отщепенце, – Забытый небрежно кивнул головой в мою сторону, – а о морально-нравственном облике целых поколений, вынужденных существовать в среде, которую всяк из нас силится подверстать под свои представления о прекрасном. Хотя никто не должен снимать ответственности за непозволительное поведение с посетившего наше собрание хозяина библиотеки, в которой мы все с вами изволим состоять...

– Да что вы на него набросились, – выкрикнул кто-то из первых рядов, очевидно имея в виду меня, – пусть себе живёт как может, дались вам его соседи, да у них, наверное, как водится, дома нет ни одной книжки, и плевать они хотели на своего учёного соседа. А за их душевное здоровье разрешите не беспокоиться: они прекрасно без нас жили, живут и будут жить!

– Им прекрасно живётся вовсе не оттого, что они соблюдают нравственную гигиену в плане чтения, а оттого, что внимают своим духовным водителям, которые имеют твёрдые мировоззренческие позиции, и знают, кого и как наставлять, – отпарировал выкрик Забытый.

– Выходит, что мы своими стараниями только размываем социокультурные основы общества, стараясь отделить агнцев от козлиц, не имея понятия, кто здесь козлица, а кто – агнец? – подал голос литератор в мундире с петлицами надворного советника. В вопрошающем я узнал любителя старины и всяческой архаики Фёдора Зарин-Несвицкого. В моей библиотеке имелась всего одна его книжка – историческая повесть «Тайна поповского сына» 1913 года выпуска.

Будучи сам поповским сыном и хорошо зная это произведение Фёдора Ефимовича, Отец Забытый недовольно поморщился.

– Вот видите! Это хорошо, что вы обратили внимание на нашу ответственность перед читателем, ибо без приверженности идее народности и единства в соседних квартирах вряд ли смогут появиться книги. Вот среди нас нет Стурзы Александра Скарлатовича и Михаила Леонтьевича Магницкого. А жаль. Они-то знали, как сохранять общественное согласие и всеобщее дружество, а не разводить людей аки козлиц по пустым квартирам, чтобы они там замыкались в придуманных мирах. И стоит ли теперь удивляться, что наш «Призрака суетный искатель» не знаком с агнцем, живущим с ним по соседству.

– Да никакой Стурза агнцу не товарищ. Для него он такой же бездельник, словоблуд и празднословец, как и какой-нибудь ревнитель зауми. Среди нас тут таковых нет, но, право, от текстов последних, как от любой бессмыслицы, нет никакого вреда, чего не скажешь о том же

«Взгляде на Мироздание» Михаила Магницкого, – встрял в разговор Александр Богданов, позабыв про свои идеологические и стилистические расхождения с поэтами-футуристами.

– Да что там смыслит в Мироздании ваш Магницкий. И на кой лешман его непросвещённый взгляд на сей предмет вышеупомянутому соседу, – грубо буркнул Панаев, от чего стоящий рядом Батюшков, сравнивающий Владимира Ивановича с «мёдом, патокой и тмином, спрыснутым водой», нервно закашлялся. Панаев, действительно, всей своей идиллической душой ненавидел Магницкого. – А что до неучёного соседа, – продолжил Панаев, – так здесь надобно применить новацию Петра Великого, предписывающую всякому желающему приобщиться к культуре выдачи «рюмки водки и цукерброда».

– Любопытное предложение, – ответил на реплику Панаева из-за спины Батюшкова Тимофей Грановский. – Словами же Петра Великого и ответчу: «Сие в авантаже не обреталось». Рассуждая о проблеме общественного бытия, мы опускаем из вида то обстоятельство, что наше представление о человеке и о его нуждах носит совершенно абстрактный характер, а когда же перед нами вполне конкретный человек, все наши досужие построения теряют и последовательность, и значение. Посмотрите, как вы все набросились на того, кому мы обязаны возможностью являться здесь. Только чем же он заслужил ваши упрёки?

Речь Грановского писателям не понравилась. В толпе послышалось театральное шикание и неразборчивое ворчание, которое остановил председательствующий собрания, Отец Забытый.

– Друзья, – примирительно начал Забытый. – Олимпийским божествам не с руки толкаться локтями и переругиваться. Это удел бездарностей, но среди нас, полагаю, таковых нет. – Забытый испытывающим взглядом обвёл толпу литераторов, и между ними моментально воцарилась полнейшая тишина. – Так вот, собрались мы вовсе не для того, чтобы выказывать претензии к бесчиннику, лишившему всё прогрессивное человечество откровений нашего достопочтенного юбиляра.

Истинно Фебов душистый алтарь и участок священный
Вечно останутся здесь, и почитит он тебя перед всеми...

– торжественным голосом процитировал Забытый строчки гимна Гомера. – Позвольте теперь мне предоставить нашему юбиляру слово и пусть он что-нибудь прочтёт нам из безвозвратно утраченного.

Дородный господин привстал со стула и поприветствовал собравшихся литераторов.

– Сердечно благодарю вас, дамы и господа, за внимание к моей скромной персоне и к тому, что вы полагаете у меня ценным и значимым. Но, – обратился он к Отцу Забытому, – нашему уважаемому ведущему случилось допустить невынужденную ошибку. Нельзя произносить имя бога Аполлона там, где всем распоряжается дельфийская нимфа. Граф Сен-Жермен предупреждал прежнего владельца бронзового чернильного прибора с Касталией, что имя Феба лишает её силы, а, следовательно, нам придётся вскоре вновь обратиться в тени. Поэтому, перед тем, как мы все исчезнем, разрешите мне обратиться к владельцу библиотеки, собравшему нас.

Все повернули свои лица в мою сторону.

– Рукописи утрачены, но то, что вам удалось прочесть, никуда не исчезло. Я поверил бумаге то, что диктовала мне сама Природа. Говорят, что для такого общения с ней необходимо быть избранным, только это неправда. Это доступно любой человеческой душе. Потому я и не спешил публиковать свои рукописи, и по той же причине пропажу их попустил случай. Было бы неверным связывать всё то, что я успел записать на бумаге, с какой-то конкретной личностью, ибо всё изложенное принадлежит всем и никому одновременно. Верно заметил когда-то всё тот же граф Толстой, сочинивший историю юной герцогини, удивительно похожую на ту, что сейчас происходит с вами:

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землёю, незримые оку.

Нужно только настроиться, прислушаться, и если не слова, то чувства найдутся сами. И эта способность дарована каждому, даже вашему соседу по лестничной клетке, так и не удосужившемуся прочесть ни одной книги. Прав был сегодняшний наш председатель, процитировавший слова святителя Тихона Задонского. В мудрой душе нет и не может быть места для гордости, ибо всем одинаково светит солнце, для всех без различия цветут деревья и благоухают поля, никого не обделяет своей свежестью морской бриз и любому из нас дарит прохладу лесная сень. Необходимо учиться чувствовать и принимать это, тогда не будет мысли как-то разделять людей, и никому не придёт в голову искать инаковость в ближнем...

Было видно, как истончается и слабеет голос прежнего хозяина волшебного подарка Сен-Жермена. Очевидно, напуганная именем Аполлона бронзовая дельфийская нимфа теряла свою власть и не могла более удерживать жизненную силу в воплощённых тенях. Нет, при-

зраки, как в повести Толстого, мгновенно не исчезли, и их следы не разметал ветер. Они просто растаяли в сумерках, забрав с собой свет, прежде струящийся неизвестно откуда.

Я вернулся к книжным полкам и окинул взглядом всю библиотеку, стараясь найти книги тех, кого я только что мог видеть и слышать. Книги упрямо молчали, ошетилившиеся кожаными, бумажными и картонными корешками, словно пытались отстоять своё право быть такими, какими они есть. Оспорить то, что сказал виновник странного торжества, вряд ли кто-нибудь смог решиться, но приверженцев идеи пребывать в равенстве, судя по заявлениям тех, кому удалось высказаться, тоже среди собравшихся не находилось. Наверное, это правильно и справедливо. Человек слишком сложно устроен, чтобы руководствоваться наивными положениями. Хотя, если разобраться, то представление о равенстве в возможностях не ограничивает право человека быть свободным. Каждый имеет право свободно формировать для себя собственную модель повседневного бытия, заботясь лишь о том, чтобы при столкновении с иными у него не возникало трений. А их и не должно быть, если внимательно следить за тем, чтобы в собственном мире был покой и порядок.

Комната

«В моей работе мне нужна простая комната, с голыми стенами, чтобы ничто даже глаз не развлекало, а главное – чтобы туда не проникал ни один внешний звук». Гончаров, которому принадлежат эти строки, «не любил толпы, шума и новых лиц». Работать он предпочитал исключительно в тишине, поэтому нанимал квартиру подальше от грохочущих магистралей Санкт-Петербурга, сыскав для себя особняк семьи Устиновых на тихой Моховой улочке, в трёхкомнатной квартире с окнами во двор.

К несчастью, я такой же «нервозный человек», как и автор «Обломова», и не выношу шума. А в студенческом общежитии, куда я попал сразу же после школы, тишины не наблюдалось ни днём ни ночью. В сессионный период такая ситуация была для меня совершенно невыносимой, и мне приходилось искать тихую комнату в городе, чтобы готовиться к экзаменам, сохраняя рабочее настроение и душевный покой.

Сдавали помещения тогда преимущественно вежливые старушки, кому по тем или иным причинам приходилось проживать в полном одиночестве в старых ленинградских квартирах. Их излюбленным местом встречи с потенциальными квартирантами была площадка перед Львиным мостиком через канал Грибоедова, и я всякий раз отправлялся туда за несколько дней до зачётной недели.

Моя студенческая куртка с эмблемой стройотряда не делала меня полноценным соискателем заветных квадратных метров, и большинство старушек привычно игнорировали эту красноречивую часть гардероба, продолжая считать меня случайным подростком, по неизвестно какой причине здесь оказавшимся и надевшим чужое. Поэтому я был несказанно удивлён, когда одна из них, взяв меня за руку и наклонив к себе, тихо проговорила: «Пойдёмте со мной. У меня для вас есть прекрасная тихая комната».

И как же правдивы оказались её слова! На Васильевском острове, конечно, много тихих дворов, заснувших в девятнадцатом веке и продолжавших пребывать в сладкой зачарованной дрёме, но этот дворик, пожалуй, был совершенно особенный. Узкую клеть двора заполняли вековые деревья, раскинувшие свои мощные кроны над высокой кирпичной стеной, отрезающей и без того небольшое дворовое пространство от соседних зданий, развёрнутых к ней глухими брандмауэрами. Сам же дом, где мне предстояло пережить сессию, непосредственно примыкал к этой стене и не имел чёрных лестниц. Единственным входом в дом с дворового фасада была дверь, приподнятая над землёй на высоту человеческого роста с примыкающими к ней тяжёлыми гранитными ступенями, окаймлёнными по краям узорным кованым парапетом. Тишина вокруг стояла такая, какой бы позавидовал сам Иван Александрович Гончаров, который бы наверняка не упустил возможности здесь поселиться, существуй в его время такая же контактная площадка перед Львиным мостиком.

Поднявшись по лестнице, мы очутились внутри длинного тёмного коридора, непонятно где заканчивающегося, с односторонним рядом дверей, разделённых внушительными пролётами. Стены коридора были сплошь увешаны какими-то старыми афишами, над которыми нависали ползущие параллельно потолку разные трубы и открытая проводка, кое-где цепляющаяся за фарфоровый крепёж. Ближайшая от входа комната была предуготована для меня. Хотя я и предполагал, что она не будет отличаться роскошеством интерьера, но не ожидал, что созерцание сумрачной пустоты такого большого внутреннего пространства вызовет во мне столь скорбное и гнетущее чувство. Меблировка сильно напоминала убранство казематов Алексеевского равелина Петропавловской крепости: здесь имелась железная кровать, заправленная грубым суконным одеялом, в углу стоял стол и табурет, а под высоченным потолком горела подслеповатая лампочка, вставленная прямо в пустой цоколь на изогнутой подводке, почерневшая от времени и покрытая серой пылевой ватой. Занавески на окнах напрочь отсут-

ствовали, правда, в них и не было никакой необходимости: оконные стёкла едва пропускали дневной свет и к тому же выходили на тёмный и глухой двор. Да и забота о чистоте окон тут возлагалась, по-видимому, исключительно на проливной дождь и мокрые снежные хлопья.

На следующий день я принёс из общежития учебники и настольную лампу, по-гончаровски окинул взглядом пустые стены, где «ничто не развлекало глаз», и принялся за свою «обыкновенную историю» – стараться, чтобы «премудрость скучных строк» переставала быть скучной и раскрывалась в своей подлинной красоте и смысловом значении.

Но только я углубился в чтение, как в мою комнату «постучали». Нет, это был даже не стук, а какой-то скрежет, однако полученный сигнал явно свидетельствовал о том, что ко мне пришли, и дверь необходимо открыть. Я дёрнул дверную ручку и в мою комнату проворно проник серый зверёк, сильно напоминающий кота. Зверёк сделал пару прыжков и оказался на моём столе, устроившись рядом с принесённой настольной лампой. Возможно, этим зверьком и был самый обыкновенный кот, а не какое-нибудь неведомое науке существо, но ввиду моих поверхностных познаний в фелинологии, этот вопрос так и остался для меня открытым. Однако кем бы ни был зверёк на самом деле, ни погладить его, ни обратиться к нему с просторечным «кис-кис», мне категорически не хотелось.

«Пусть себе сидит, где хочет», – решил я и вернулся к недочитанному абзацу. Настольная лампа хорошо освещала лежащую передо мной раскрытую книгу, однако склонился над нею не только я, но и забежавшее ко мне таинственное существо. В комнате, действительно, стояла исключительная тишина, и, либо благодаря этому пронзительному затишью, либо посредством чего-то иного, самый сложный материал читался на удивление легко и свободно – информация из учебника как бы сама собой укладывалась в память в виде целых страниц, с имеющимися там точками и запятыми, с книжной пагинацией, сносками и пробелами. Я, конечно, занимался мнемоникой и скорочтением, однако такого глубокого осмысления и быстрого запоминания текста мне ещё достигать не удавалось.

Оторвавшись от книги, я взглянул на сидящего рядом «кота». «Кот» смотрел на меня в упор, его чёрные зрачки превратились от света в две узкие полосы, а большие жёлтые глаза светились таким же ослепительно ярким электрическим светом, как и моя включённая настольная лампа.

Этот взгляд поглотил меня целиком и помог отыскать в глубине бессознательного феномен прилипчивой памяти и необыкновенной лёгкости бытия. Известно, что кошки способны предугадывать наши желания и могут хорошо разбираться в людях, но я почувствовал, что это существо наделено талантами, которым мог бы позавидовать всякий его сородич. «Кот» властно завладел моим сознанием и перебирал хранимые там впечатления, подобно тому, как морской прибор перебирает в своих водных ладонях прибрежную гальку. Возможно поэтому средневековые мракобесы подозревали кошек в связях с тёмными силами, а в Античности их взгляду приписывали гипнотическую силу, по причине чего даже талантливый ученик мудреца древности Аристотеля, Александр Македонский, называл этих симпатичных животных «чудовищами из преисподней».

Дремучие предрассудки, порождённые невежеством и бескультурьем, мне не только были в высшей степени чужды, но и представлялись полнейшей нелепицей от ненавистников кошек, у которых явно было не всё в порядке с совестью и со здравым смыслом.

Может быть, сидящий передо мной зверёк и впрямь являлся фантастической сущностью, а может, был просто рядовым представителем магического подсемейства малых домашних кошек, но мои давнишние впечатления вдруг стали оживать, заполняя всё пространство полутёмной комнаты. Сначала подслеповатая лампочка на потолке ярко вспыхнула, и на её месте воцарилось оранжевое светило. Бархатистый от многократной побелки потолочный плинтус какое-то время ещё оставался унылой горизонтальной тягой в розоватом небе, но вскоре и он сделался воздушным, представ передо мной тонкой полоской прозрачных перистых облаков.

Затем стены комнаты начали зеленеть и терять форму, обратившись, в конце концов, в весенний цветущий сад. А где-то далеко-далеко проступила синеватая гряда гор, которая начала выстраиваться в гигантское полукольцо, чтобы обнять своими тяжёлыми руками бликующее солнечными гелиодорами тёплое море. Я бежал к нему по отливающей золотым блеском глиняной тропе, наполненный безмятежной радостью, лучезарным светом и ласковым морским бризом.

«Кот» регулярно приходил ко мне всю зачётную неделю. Он прыгал на стол под включённую настольную лампу, чтобы помочь мне побыстрее разобраться с учебным материалом, а затем отправлял меня в далёкое путешествие во времени, очевидно взвешивая на своих ценностных весах мои прежние впечатления, и старался выбирать из них самые интересные. «Кот» свободно расхаживал по квартире, подолгу засиживаясь у меня, и лишь к ночи уходил по коридору в полутёмную глубину комнат, откуда изредка доносился низкий грудной голос его хозяйки. О ней, из развешенных в коридоре афиш, я узнал, что эта собственница самого тишайшего местечка в нашем шумном городе в прошлом была оперной певицей, обладательницей глубокого драматического контральто. Но ни оперой, ни театром я никогда не интересовался, и могущественный хозяйский «кот» занимал моё воображение куда как больше, чем все рядовые и прославленные служители сцены.

Но творимые этим котообразным созданием чудеса так бы и остались неведомые никому, если бы перед экзаменом меня не остановил куратор и не поинтересовался, как мне удалось разрешить на время сессии мой больной квартирный вопрос. Куратор был в курсе дел каждого нашего студента и хорошо знал, что я намеревался на время сессии найти в городе уединённую тихую комнату. Я имею обыкновение не посвящать никого в деликатные частности своей частной жизни, но тут, вопреки привычке, у меня возникло необоримое желание сообщить ему о происходящих со мной странностях, наверное, потому, что наш куратор как нельзя лучше подходил на роль моего доверенного лица. Я охотно поделился с ним своей историей, утаив, правда, некоторые подробности, и ни слова не сказал о диковинном коте. Зато во всех деталях поведал ему про выходящую окнами во двор комнату и про сам дом, обстоятельно описав особенности его расположения.

– Знаешь, этот дом некогда принадлежал купцу Якову Брусову, – напоследок сообщил мне куратор, хорошо знавший город и иногда проводивший для нас, иногородних студентов, пешие экскурсии. – Брусов – был владельцем нескольких каменоломен и крупным подрядчиком гранитных работ. Для собственного дома он, понятно, не пожалел гранита, добытого его работными людьми.

– А причём же здесь гранит? – удивился я.

– Эзотерики приписывают гранитам способность стимулировать умственную деятельность и улучшать память, – с улыбкой произнёс куратор.

– Ну и что же? Разве это научный факт?

Куратор весело рассмеялся и потрепал меня по плечу:

– Ступай к своим гранитам, в прямом и переносном смысле. «Гранит эзотерики» никто из серьёзных учёных грызть даже не собирался, поскольку это и не гранит вовсе, а, возможно, материал совершенно иной природы...

Куратор и вправду хорошо знал город: дом купца, действительно, был богат гранитом, только все мои мысли занимал не камень из брусовских каменоломен, а живой зверёк. Мне очень хотелось что-либо узнать о самой сути происходящего, и я упрекал себя за то, что не рассказал куратору самого главного – своего соображения об учёном коте, побоявшись глупо и несерьёзно выглядеть перед уважаемым наставником.

Однако как показало моё дальнейшее пребывание в брусовском доме, хозяйка «кота» мало в чём уступала своему питомцу.

По всей видимости, у нас с ней не совпадал распорядок дня, и поначалу у меня даже сложилось впечатление, что никого кроме «кота» в квартире больше не проживает. Хотя иногда из квартирной глубины доносились какие-то странные шумы, выдававшие присутствие хозяйки в доме, но заявила она о себе только тогда, когда я, наконец, услышал её голос. Он был очень сильный и низкий, его вибрации передавались окружающему пространству, которое от него оживало, отзываясь собственными резонансными частотами. Особенно в этом отношении были восприимчивы вентиляционные трубы, расположенные в коридоре, которые не только чутко улавливали гармоники её голоса, но и сохраняли в себе долгое беспокойное эхо. Нашествие звуков нарушало привычный режим тишины, но лишённое содержания сольфеджио не путало мысли и продолжалось совсем недолго, поэтому до вокализмов хозяйки мне не было никакого дела. Но так было до тех пор, пока она оставалась в пределах обычного грудного регистра. Однако, как оказалось, её голос позволял большее.

Уже намереваясь отойти ко сну, я услышал из глубины коридора привычный звуковой распев. Против обыкновения он быстро опустился ниже шумового регистра, преодолев порог естественного слухового восприятия. Акустическая волна беспрепятственно вошла ко мне через приоткрытую дверь, хотя для низких частот с такой внушительной амплитудой уже не существовало никаких заслонов. Всё вокруг начало вибрировать и дрожать, подчиняясь навязанной воле редкого вокального дара. Пронизывающая головная боль повалила меня на кровать, я накрылся суконным одеялом, но частый беззвучный пульс в висках только нарастал, постепенно переходя с головы на всё тело, заставляя меня корчиться и трепетать. Обрушившаяся темнота сменилась частыми вспышками, которые сжимаясь в размерах, становились болезненными для глаз и разгорались всё ярче, подобно колючим огненным лучам от электродуговой сварки. Вскоре боковое зрение и вовсе исчезло, оставив меня с жалящим оранжевым мерцающим пятном света.

Я почти не понимал, что со мной происходит и не сразу заметил, как на моей груди оказался необычайный хозяйский кот. Он прикоснулся мордочкой к моей щеке, и я ясно различил его доброжелательное мурчание, перебивающее, вопреки физике, весь застрявший в вентиляционных трубах и резонирующих полостях губительный инфразвук. От моей головы отхлынула болезненная волна, вернулось периферийное зрение и исчезло прожигающее сетчатку оранжевое пятно. «Кот» глубоко заглянул в мои глаза, спрыгнул на пол и стремительно исчез за дверь.

Наверное, «кот» попутно ещё освежил мою память, поскольку предпоследний, самый сложный экзамен сессии, я выдержал блестяще, несмотря на пережитый накануне стресс, оставивший тяжелейший осадок и прописавшийся во мне надолго, если не навсегда. На этот раз я сам разыскал куратора и выложил ему всё, что произошло в тишайшем брусковом доме, однако о «коте» снова стыдливо умолчал.

«Возвращайся-ка обратно в общежитие, – посоветовал мне куратор. – Прежде ты ссылался на Гончарова, так ещё бы и Марселя Пруста вспомнил. Тот и вовсе обивал звуконепроницаемой пробкой свой кабинет. Не надо ставить себя в привилегированное положение перед товарищами, тем более что оно, как ты убедился, чревато непредсказуемостью. Вот шахматисты, к примеру, при подготовке к турниру специально устраивают для себя шум в зале, чтобы учиться побеждать в любой обстановке. Да и древние говорили о том же. «Готов поспорить, что погружённому в учёные занятия совершенно не потребна полная тишина». Это сказал Сенека, древнеримский философ.

Я внял совету куратора и уже на следующий день вернулся в своё общежитие. Отвлечения и шум я пытался преодолевать стоически, как и учил упомянутый куратором философ-стоик. Только как же мне не хватало того серого, ловкого, пушистого, вешего...

Как я и опасался, в ночь перед последним экзаменом мне никак не удавалось заснуть. Здание общежития совершенно не желало признавать общепринятый регламент ночи, взис-

кующий обязательной тишины и успокоения. Всё дышало и пело в шумовом регистре иногда переходящем в фальцет. А, как известно, нет ничего хуже, чем приходиться на испытание с флёр-ром бессонницы, в упадке настроения и при потере всех физических сил. Я уже снова был готов время от времени содрогаться в инфразвуковой волне, лишь бы только иметь возможность лечь спать вовремя. Вспомнив про комнату в брусковом доме, я случайно заметил, как за моим мысленным взором вдруг поспешно потянулась серая и мохнатая тень. Она обрушилась на бессонные веки, наполнив их своей тяжестью, отчего мой внутренний мир замкнулся синими рукавами далёких гор, не позволяя проникать туда никаким посторонним звукам. И эта защита оказалась куда надёжнее пресловутой прустовской пробки, поскольку больше ничто не мешало мне счастливо бежать по золотистой глиняной тропинке в безмятежный и чудесный сон. А по той же тропе, стараясь держаться со мною рядом, проворно поспешал мой новый хороший знакомый – вещий неутомный «кот».

Подслушанный разговор

Теперь мы можем только догадываться, какие из тайных знаний наших предков были безвозвратно нами утрачены. Напоминают о них разве что народные приметы и сказки, в которых правда перемежается с вымыслом, и разобраться – где что, уже не представляется возможным.

Однако хорошо известно, что древние опасались изображать лица во всём их реалистическом жизнеподобии, чтобы не позволять вселяться туда блуждающим душам, злым духам и непостижимым сущностям.

Так случилось, что мой дом расположен вблизи двух зданий, возле которых установлены бюсты, лицом обращённые друг к другу. Около Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе установлен мраморный бюст его основателя, а на территории НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова расположена гранитная герма со скульптурным изображением В.И. Ленина. У Ленина исключительно серьёзное лицо, и он испытывающе смотрит прямо в лицо знаменитому академику, смотрит с того самого юбилейного для обоих года, когда бюст Владимира Ильича поставили супротив бюста Абрама Фёдоровича. Так вот они и оказались рядом, такие несхожие и такие особенные. И надо думать, двум этим мыслителям нашлось, что сказать друг другу.

– Вы не представляете, Владимир Ильич, как я искренне рад вашему появлению тут! Лучшего подарка от потомков к моему столетнему юбилею и придумать было невозможно.

– Ошибаетесь, батенька, это мой юбилей подвигнул благодарных потомков наполнить этот невзрачный сквер моим благоприличным присутствием. Вспомните, как проходило открытие моего бюста. Разве хоть кто-то стоял, развернувшись к вам лицом? Нет, и ещё раз нет! Никто из них даже не удостоил вас мимолётного взгляда!

– Владимир Ильич, но вам-то не пристало исповедовать философскую концепцию дополнительности Нильса Бора – «наблюдение нарушает явление». Мне известна ваша любовь к цифрам и фактам. Допускаю даже, что никто из присутствующих на открытии вашего бюста не смотрел в мою сторону. Только это ровным счётом ничего не доказывает. Всё гораздо сложнее и требует детального изучения.

– Это всё подлые рассуждения, Абрам Фёдорович. Вы, помнится, оправдываясь перед последователями моей теории диалектического материализма, ссылались на него, как на единственно верное научное видение. Однако признайтесь, ведь вы были тогда неискренни.

– Отчего же, Владимир Ильич. Я-то как раз допускаю, что физические свойства могут создаваться их измерением, а также зависеть от самого наблюдателя. А если внимательно посмотреть на весь инструментарий для обоснования вашей теории диалектического материализма, то очевидно читаются приведённые в систему ваши субъективные переживания по поводу фундаментальной науки. Что неплохо корреспондируется с мыслью Бора о всеобъемлющей методологической значимости его принципа дополнительности. Так кто здесь из нас исповедует пресловутый «физический идеализм»?

– Хорошо сказано! В это необходимо вникнуть и, полагаю, что у нас с вами, Абрам Фёдорович, будет ещё много времени для обстоятельной беседы.

– Есть у меня опасения на этот счёт, дорогой Владимир Ильич. И всё дело в ваших «благодарных потомках». Как бы они вдруг не посчитали, что этот сквер будет хорош и без вашего «благоприличного присутствия», и мне опять будет не с кем перекинуться словом.

После этих слов академика я даже остановился, чтобы шум моих шагов и шелест ветра не помешал расслышать ответ вождя. Но ответа так и не последовало, и на этот малолюдный участок Политехнической улицы, где были прописаны Абрам Фёдорович и Владимир Ильич, обрушилась глухая осенняя тишина.

Это случилось поздней осенью 1980 года. Тогда с деревьев полностью облетела листва, и собеседники, наконец, смогли хорошо разглядеть друг друга. Бюст Владимира Ильича уста-

новили совсем недавно, и измолчавшийся Абрам Фёдорович, наконец, имел прекрасную возможность выговориться и не чувствовать себя столь одиноко.

Но внимательный читатель не мог не отметить, что подслушанный мной разговор закончился как-то внезапно и оставался логически незавершённым. Разумеется, мне тоже это показалось странным. Очевидно, Ильич, по своему обыкновению, задумался, приняв опасение Абрама Фёдоровича всерьёз, а академик ушёл в себя, осознавая неотвратимость своего предвидения. И как здесь не вспомнить концовку пушкинского «Бориса Годунова» с его бессмертным и вечно повторяющимся: «Народ безмолвствует...» Пусть даже народ, исполненный в камне.

Мусор

Если меня спросить, как я здесь оказался, – вопрос поставит меня в тупик. Вполне допускаю, что я некогда был здесь, а теперь просто не могу припомнить – когда и почему. Жаловаться на забывчивость мне прежде не приходилось, но памяти здесь попросту не за что зацепиться, потому что везде навалены горы мусора, мешающие ориентироваться и соотносить увиденное с прежними впечатлениями. Хотя, если выбирать участки, где мусор уже слежался, превратившись в клейкую эклектичную массу, то можно по ней взбираться наверх и наблюдать море, виноцветное, как у Гомера. Разве что в отличие от моря Гомера его виноцветность определяет не глубокое небо Средиземья, а поверхностный слой разносортного плавучего хлама, уходящего за горизонт.

Я шёл по городу, спотыкаясь о мусорные кочки, и корил себя за то, что ежедневно выносил в мусорный бак за моим домом целый пакет бытового мусора. Разумеется, цивилизация являла свою механистическую суть, и мне не раз случалось наблюдать как к десяти часам к нашему мусороприёмнику подъезжала мусороуборочная машина, которая увозила скопившийся мусор подальше от дома. Я очень надеялся, что эти машины с отходами идут прямо на сортировку, где мусор обретает новое качество и получает новую рациональную жизнь. Сомнения поселились во мне тогда, когда в мусороприёмнике появились баки для раздельного сбора, и я видел как люди неосмысленно бросали в них что попало, а приходившая в десять машина сгребала всё сортируемое в одну общую композитную кучу.

С такими мыслями я шёл мусорными лабиринтами, встречая по дороге таких же потерянных бедолаг, иногда проходящих мимо, а иногда цепляющихся и стремящихся одарить меня чем-нибудь бесполезным, достойным оказаться в тех же монументальных нагромождениях, что тянулись за мною по всему маршруту.

Вдумчивый читатель резонно возразит мне, что коммуникация сама по себе не несёт неизбежного умножения количества негодных вещей. Но если принимать во внимание все аспекты человеческого взаимодействия, то необходимо включить в категорию сора и всю существующую в социальном сообществе нематериальную часть, имеющую в своей основе значимый мусорный эквивалент. Ведь мусором могут быть не только пустые консервные банки и картофельные очистки, но и вздорные слова, убогие мысли и пренебрежительные отношения... Поэтому я старался по возможности избегать необязательных контактов и, надо сказать, что это часто мне удавалось, сложности возникали разве что при встречах с назойливыми продавцами.

Там, где подстерегали меня торговцы, мусорные стены были приведены в состояние, соответствующее всем правилам торговой площадки. Мусор, в пределах достижимости совковой лопаты, был тщательно притрамбован, а валяющиеся повсюду ошметки заброшены той же лопатой на гребень мусорной копи.

От первого торговца, предлагавшего мне купить какую-то мелочь, я попросту отмахнулся, но второй находился в таком неудобном для свободного передвижения месте, что мне пришлось ненадолго остановиться. Здесь проход между мусорными отвалами был столь узким, что даже при отсутствии помехи необходимо было приложить немало усилий, чтобы протиснуться дальше, не измазав одежду и не обрушив на себя опасно нависающий сверху рыхлый ком бумаг и объедков.

– Приобретайте лакомства, – сладко пропел мне торговец, разложив передо мной целый арсенал съестного, пакетированного в красивые упаковки.

Чтобы он от меня отстал и пропустил дальше, мне пришлось купить небольшой пряник, запечатанный в целлофанованную плёнку и помещённый в раскрашенную коробку.

– Зачем же столько одёжек у такой мелочи, – удивился я.

- Так на то она и цивилизация, – торжественно отвечал продавец.
- Тогда подскажите, как мне избавиться от всех этих обёрток, – нужность.

– А вот... Давай сюда, – засуетился торговец, ловко поставив передо мной большую совковую лопату. Я бросил мусор на плоскость лопаты, а продавец одним выверенным движением забросил его себе за спину. Смятые обёртки блеснули на солнце и присоединились к нависающему над нами конгломерату различных отходов.

«Странно, что никогда я прежде не сопоставлял эти два, казалось бы, несвязанные понятия: цивилизацию и здравый смысл. И вот оказывается, они не просто взаимозависимы, а даже одно способно отменить другое!» – думалось мне, когда я пролазил в узкую расщелину в мусорной гряде, по стенам которой стекала то ли вязкая слизь, то ли сочился и распределялся по поверхности отвала густой жир, вытапливаемый из отложений.

Там, где проход был относительно свободен, мне как-то удавалось миновать приставучих торговцев, да и к тому же, тесноты больше не наблюдалось. Порой, вопреки моим пессимистическим ожиданиям, встречались довольно-таки широкие участки, своеобразные мусорные долины, где почти не было сора. Зато там было очень многолюдно, ибо всякий стремился подышать относительно чистым воздухом и быть подальше от осадочных пород вездесущего мусора, оставив удовольствие разбираться с этим «добром» геофизикам и исследователям Земли.

Когда я прошёл ещё дальше, то обнаружил, что мусорный лабиринт кончился, хотя и здесь особенной чистоты тоже не наблюдалось. Я бы определил эту местность как мусорное предгорье, потому что именно здесь начиналась поразившая меня эпическим масштабом колоссальная свалка.

Предгорье тоже заполняли народные толпы, однако назвать находящихся тут людей празднующимися, было нельзя. Здесь были и артисты, и художники, и литераторы. Каждый демонстрировал своё искусство и стремился заполучить себе либо слушателя, либо зрителя. Творцы что-то изображали, декламировали, доказывали и показывали. Сначала я ещё мог воспринимать кое-что из представленного, но потом внимание моё притупилось, и различить одно от другого стало решительно невозможно. Но я не сдавался, стараясь вникнуть в услышанное и увиденное, пытаюсь осмыслить его и принять. Однако, наверное, мне просто не повезло. Раз за разом я натыкался на какую-нибудь беспомощную глупость, нелепое измышление или откровенную мазню, чем замусоривал своё зрение и перегружал память. И по причине такого отчаянного невезения я упускал из виду то, что могло бы доставить мне подлинное эстетическое удовлетворение или усладить слух.

Отойдя подальше от шумящих поэтов, я остановился около философа, который залез на штабель ломаных деревянных поддонов и громко рассуждал об общественном благе.

– Скажите пожалуйста, а почему здесь так многолюдно. Неужели беспредельная свобода самовыражения способна сформировать условия для всеобщего благоденствия, о котором вы так беспокоитесь.

– Это есть важнейший признак развитой цивилизации, – высокомерно ответил философ, посмотрев на меня как на недоумка.

– А как бы вы отнеслись к разумной сортировке всего создаваемого этим креативным классом интеллектуального продукта? Насколько мне известно, сортировка – это тоже неотъемлемый признак развитой цивилизации.

– Это другое, – отрезал философ, и, отвернувшись от меня, продолжил прерванное моим вторжением рассуждение об общественном благе.

Честно говоря, я совершенно не представлял, каким образом мне побыстрее выбраться отсюда. Около меня не было ничего такого, на что бы я смог взгромоздиться и осмотреться вокруг. Разве что можно было бы попросить философа уступить мне на время шаткий штабель из битых поддонов, но рассчитывать на это было наивно. Философ обрёл свою высоту, и уступить её никому б не позволил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.